

Каринэ АРУТЮНОВА

РАССКАЗЫ

Оскар Циферблат

*Время, мокрая хризалида, обсыпанная мукой капустаница,
молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика, – лучше бы ты не глядела!*
Осип Мандельштам

Говорят, накануне Оскар Глазерсон запер свою будку раньше, всё осталось на месте, а вот и часики мадам Зильбер, – какая интересная женщина, вначале является бюст, а потом, собственно, его обладательница, целое ателье индпошива работает на мадам Зильбер, – это через две улицы, где режет курей немая Сура, так вот, целое ателье работает на этот умопомрачительный бюст, на его, так сказать, достойное обрамление, – какие роскошные бюстгальтеры шьются там! Лучшие парижские выкройки, – не вынимая булавок из крепко сжатых губ, тучная женщина с очень выпуклыми, страстными, глянцевыми глазами, Фаина королева Испании, не иначе, – оно мне надо, смеётся Фаина, выплёвывая булавки, оно мне надо, ваша Испания, когда сама мадам Зильбер годами вертится у этого зеркала, оно ещё помнит Франца Иосифа и бабушку Геню...

Фаина королева Испании, пьяные вишни губ, отороченных волнующим пушком, чёрная кружевная мантилья, жаркая пухлая ручка со смуглыми женственными пальчиками-виноградинками, точь-в-точь самый дорогой в мире виноград «Осман»...

Баба Геня припадала на одну ножку и почти не слышала на одно ухо, она была владычицей портновских ножниц и метра, материя играла в её руках, но это было давно, когда Геня ещё видела и слышала, и могла шлёпать глупую Фаю по пухлым рукам, – кеcele, учись, пока Геня жива.

Потом баба Геня стала семейной легендой, и вся её долгая, суетная, полная лишений, кропотливого труда и безусловной любви жизнь уместилась в мутноватом снимке под стеклом, а Фаина королева Испании всякий раз поминала её, вынимая булавку из плотно сжатых губ.

Разве не для того проживает человек длинную праведную жизнь, чтобы быть упомянутым к месту и не к месту...

При чём здесь Франц Иосиф, спросите вы. Так, к слову пришёлся.

Но разве одна мадам Зильбер поверяла маленькому Глазерсону своё время, свои укромные тайны, свои женские хитрости и секреты?

Часы на браслетах и на цепочках, на истёртых ремешках и без них.

Фима Зильбер, допустим, любит вытащить часы из нагрудного кармана, а юная Римма (дочь королевы Испании) носит часы на старом ремешке. Слишком старом для такой красивой девушки, скажете вы, и не ошибётесь, потому что часики свои Римма получила по наследству.

– Оскар Самуильевич, так я забегу в четверг?

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новый журнал», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге публикуется с 2013 года.

Тонкое девичье запястье столь многое сообщает об обладательнице его. Вслед за запястьем проступает нежный сгиб локтя, густая тень от ресниц, изящное ушко, не деформированное, не отягощённое ни золотом, ни, боже упаси, бриллиантом...

Римме исполнится тринадцать, и на бат-мицву ей достанутся часы. Маленькие продолговатые часики на чёрном кожаном ремешке. Теперь она, как взрослая, сможет с тревогой поглядывать на них, сверяя с настенными. Часы, конечно, не совсем новые, даже совершенно не новые, – новые она наверняка получит на семнадцатилетие, а старые отдаст младшему брату. К тому времени Генрику исполнится столько, сколько ей сейчас.

Главная заповедь коммерции – уважение к заказчику. Это же как дважды два. Как вы скажете, мадам Зильбер...

Корпус мадам Зильбер медленно вращается перед зеркалом, и губы её, нежно-розовые улитки, капризно морщатся.

– Не кажется ли вам, Фая, что вытачку надо бы повыше?

– Женщина вашего диапазона, мадам Зильбер, достойна самого лучшего, поверьте моему опыту, повернитесь, мадам Зильбер, это же нет никаких на вас сил, какая богатая фактура! – Фаина испускает сдавленный стон восхищения, не выпуская булавок из губ, она опускается на колени и, захватывая часть подола, быстро-быстро вставляет (куда надо) эти самые булавки, – вот здесь присобрать, а здесь – отпустить...

Римме кажется, что мать немного... как бы это сказать, лебезит и заискивает. Но это с высоты её юных неопытных и самонадеянных лет...

– Ой, держите вашу девочку, Фаина, на вашу девочку, как бы это сказать, оборачиваются почтенные отцы семейств.

Оскар прикладывает часики к уху. Сколько интимного в этом царапающем звуке. Часики с историей, но у него, у Оскара, есть немножко швейцарских деталей. Конечно, это не дешёвое удовольствие, но за него заплатит Фима Зильбер. Оскар вытаскивает откуда-то из-под конторки толстую тетрадь в косую линейку, находит фамилию мадам и напротив этой фамилии добавляет пару цифирек.

В конце концов, девочка полусирота, Фаина жила с себя тянет, чтобы одеть, обуть, накормить девочку и маленького Генрика. И сама же ещё вполне молодая женщина, портит свои прекрасные испанские с поволокой глаза.

Если Фаина королева Испании, то Римма, несомненно, королевских кровей. Вы только взгляните на её лодыжки, схваченные пыльными ремешками сандалий, на смуглые шершавые колени, на юные стройные бёдра, на линию живота под тонким ситцевым платьицем, на выступающие ключицы, на нежную жилку у курчавого виска.

– Держите вашу девочку, Фая, смотрите в оба глаза. Она, понимаете, как бы это сказать, дерзкая, острая такая, быстрая, мужчины смотрят ей вслед, мужчины смотрят ей в глаза, а она, понимаете, не отводит взгляда, будто знает о чём-то таком, что эти самые мужчины и помыслить не решаются.

Она ещё такой ребенок, смеётся королева Испании и встаёт, поднимается во весь свой рост, и оказывается круглой, маленькой, точно подушечка для булавок.

Вы замечали, что всякий дом пахнет по-разному? Обставлен по образу и подобию того, кто обитает в нём? Тесные норы человеческого обитания в трёх и двухэтажных домах, расположенных полукругом вокруг общего двора, в домах, которые ещё не знают про снос, не подозревают о страшном предательстве и продолжают нести свою службу, располагая в себе всё необходимое для жизни.

Оставим пока в стороне значительность утвари, глубину детских цинковых ванночек и новых эмалированных тазов, вёдер, в которых часами вываривалось отменного качества постельное бельё, конечно же, белое, со временем приобретающее оттенок цвета слоновой кости.

Оставим в покое основательность мебели, громоздких диванов, шкапов, подлокотников, скамеечек, кушеток, о, особенно кушеток со звенящими в них пружинами, кроватей, на которые многообещающе стелилось неоднократно вываренное, отутюженное, сложенное в стопку, запертое в шкафчике...

Не до него сейчас, заманчиво приглашающего в обитель тикающих ходиков в детской, или степенных настенных в столовой – бим-бом, ваше превосходительство, степенство и священство, – тик-так, тик-так, вторят им ходики, такие увесистые, даром, что маленькие, с массивным корпусом и тяжёлой гирькой, живущей по своим непреложным законам и управляющей, кто бы мог подумать, – самим временем. Зачем столько часов, если есть важные и безукоризненно точные, в которых живёт любопытная кукушка? Зачем будильник, безудержным трезвоном останавливающий сердце? Зачем браслетик, обхватывающий женское запястье, не для того ли, чтобы обеспокоенно поднести его к уху, устремив взгляд кверху, на мерно цокающие стрелки в обрамлении благородного дерева, – точь-в-точь львиная голова...

Но ходики – от них зависит вынесение окончательного вердикта. Кто побывал хоть однажды в будке Оскара Глазерсона, знаком с ювелирным и математическим измерением времени, с различными формами его, – всё это стрекочущее, тикающее, цокающее, нежно позвякивающее царство секундных стрелок, изношенных часовых механизмов, колёсиков и пружин, щипчиков, проволочек и отвёрток, – у Глазерсона чисто и тихо, как в операционной, и сам Глазерсон, точно оперирующий хирург, в специальном халате и нарукавниках, вытянув тощую кадыкастую шею, склонившись над разверстым циферблатом, вершит судьбоносное действо, от которого зависит будущность если не всего человечества, то фактора, которому оно подвластно...

Маленький усердный Глазерсон в круглых очках, перевитых синей изоляцией, с глазами, сильно уменьшенными из-за выпуклых мутноватых линз, закрывает в восемь, он гремит тяжёлым засовом и, заметно припадая на левую ногу, идёт вдоль кирпичной стены, – тень, карикатурно растянутая по поверхности её, напоминает персонажей Гофмана.

– Оскар-циферблат, Оскар-циферблат, – потешаются сорванцы, местные гавроши, но им, как говорится, только дай повод, ведь это с их лёгкой руки Фаина получила титул королевы Испании, а Римма (что вполне справедливо) оказалась наследной принцессой. И не беда, если королева с инфантой ютятся в коммунальной квартире, на втором этаже того самого дома, фасад которого в незапамятные времена был украшен вывеской «Часовой дом. Глазерсон и сыновья».

Эти ходики чинил сам Глазерсон, – прелюдия, почти любовная, с нежностью произнесённая за обеденным столом, и сложно не преисполниться почтения к скрупулёзности и честности хромированных деталей, из которых складывается неумолимость времени.

Фурнитура из Германии – а немцы, уж поверьте мне, в этом знают толк – сработана на совесть, рассчитана на долгую, почти бесконечную жизнь, как сладко тикают стрелки, процеживая отмеренное на обед, любовь, послеобеденный сон за плотно прикрытыми ставнями, на блюдо первое и второе, на закуски, горячее, на фаршированную рыбу и куриную шейку, на раскатывание теста и просеивание муки, на овальную утятницу в вытянутых руках, на раскладывание вилочек для десерта, на укачивание первенца, как сучит он ножками, надо позвать Софью Марковну, какой богатырь, точная копия, метрика, серебряная ложечка на зубок...

К Оскару особое уважение. Всё-таки европейское воспитание, это вам не балагула с Паровозной улицы. Оскар европеец, знает немецкий и даже немножко французский, и голову склоняет набок, как дятел. А какое обхождение! Даром что невеликого росту, заметно припадающий на одну

ногу (перенесённый в детстве туберкулёз кости), суховатый, но когда эта куриная, обтянутая крапчатой кожей лапка берёт женщину за руку...

Этот нежный обхват, наклон головы и точность такая, швейцарская. И принципы, и такая, знаете, чистоплотность в денежных делах. Штучный человек этот ваш Оскар, на таких земля держится. А взгляд его, близорукий, немного мечтательный, не то чтобы грустный, а понимающий. Он понимает, Оскар. И много не говорит. Кивает головой. Паузы такие долгие, что слышно, как тикают ходики, то забегают вперед, то приостанавливаются, как будто припоминают что-то.

Люди как свечи, – есть такие, что горят долго, а некоторые сгорают быстро, даже не успев как следует разгореться. У одних пламя долгое, высокое, оно успевает обогреть и осветить всё вокруг, а другие чадят, копят, и остаётся только лишь сокрушаться напрасному расходу столь ценного материала.

Есть высокие, плотные, для канделябров, – свечи-аристократы, высшая каста, а есть приземистые, круглые, – они хоть и попроще, но на них можно положиться. Как, допустим, на Фиму Зильбера, такого же приземистого, с возвышающейся над круглыми плечами круглой головой. Когда, склонившись над тарелкой, Фима терзает куриную ножку или крылышко, прикрыв маленькие свои оловянные глаза, то становится похож на черепаху. Сколько силы в этой мерно движущейся челюсти, в крепких мелких зубах, в губах, вбирающих в себя нежное куриное мясо.

Когда Фима ест – это как молитва. И муха не пролетит, застыв в благоговении перед мощью и правдивостью этого воистину божественного действия. Здесь, на этой картине, всё важно. Соусник, салфетка, которую Фима прикладывает к промасленным губам. У Фимы хорошее настроение. Достав зубочистку, он бережно очищает свои крепкие желтоватые зубы.

Фима человек размеренный, виртуозно регулирующий степень расходов и силу желаний. А в этом, кто не знает, успех долгой счастливой жизни. Есть люди, устойчивые, как доминантсептаккорд. На них держится сложное устройство бытия. И это хорошо понимала Шурочка, тогда совсем ещё молодая девушка, ясноглазая, с весёлой подпрыгивающей во время быстрой ходьбы грудью. Личико её было свежим, и вся она была как только что завезённая садовая клубника, и Фима, конечно, с самого начала знал, что Шурочка будет его, что нежное её розовое горлышко однажды запоёт под его крепкими пальцами...

Ах, как весело было подкармливать её засахаренным миндалем и арахисом, усыпать маленькими практичными подарками, – то петушок на палочке, то отрез на платье, то нежно тикающие часики известной швейцарской фирмы... Сколько лет прошло, а сердце сладко сжимается от одного воспоминания...

Когда Шурочка была просто Шурочкой, а не мадам Зильбер, и маленькие часики, утопающие в сафьяновом футляре, купленном по недешёвой, между прочим, цене, у кого бы вы думали? У Оскара Глазерсона, выписывавшего товар из Швейцарии, подумать только, из самой Швейцарии, через альпийские горы и луга, мимо альпийских коров и свежих благоуханных трав... шли часики для прекрасной тогда ещё просто Шурочки, которая засматривалась и на колье, и на серёжки, и уже умело надувала розовые свои губки, отчего делалось Фиме сладко и тревожно внутри.

Ах, какая прозрачная была и полная света жизнь. Пламя стояло ровное, света, слава богу, доставало, и в виде особенной милости Фиме досталась любовь. Он уже в возрасте был, двукратный вдовец, но ведь сильный мужчина, видный, что называется, кряжистый. Тело его цепко держалось за всё, что давалось легко, а то, что не давалось само, Фима брал сам, сражая свидетелей невиданным упорством и терпением.

Единственное, что не поддавалось тонкому математическому расчету и упрямству, это была сама природа вещей, их непостижимая изменчивость. Ах, если бы Фима знал, куда девается то, что однажды желалось так сильно, так ярко, куда уходит сам предмет, так сказать, воцеления. Куда уходят нежная юная красота, скромность и благодарное воодушевление, и ясные Шурочкины глаза становятся льдыстыми, сизыми, а губы – холодными, точно улитки.

Мадам Зильбер, быстро растеряв девическое смущение, оказалась вполне под стать своему избраннику. Цепкая, расчётливая, она нагуляла холёные всегда пышущие румянцем щёчки, подбородок, бока, впрочем, бока нещадно приходилось утягивать, прибегая к ухищрениям искусной портнихи.

Сытая, ровная жизнь, сам ритм её, разнообразие в виде новых перчаток, блестящих камушков... примерок в ателье индпошива, нескончаемых сплетен за долгим кофепитием.

К обеду все важные дела переделаны, сплетни услышаны, переварены и пересказаны вновь, в новой уже интерпретации, со смещёнными акцентами.

Кто нынче помнит о часиках фирмы «Павел Буре», так ладно сидящих на полноватой холёной руке...

Вы замечали, что каждый дом отличается особым, никогда не повторяющимся запахом? Что бедность и зажиточность имеют тысячи оттенков, что богатство богатству рознь, и бедность бывает скромная, достойная, такая, знаете ли, застиранная, опрятная, клеёночкой застелена, подштопана, где надо, а бывает бедность последняя, отчаянная, когда сил на сохранение приличий нет, и в каждом углу глас вопиющего в пустыне.

А бывает она вызывающей, будто рядится в отрепья, выставляет раны и рубцы напоказ...

Зажиточность Зильберов была притчей во языцех, и пахла она какими-то особо резкими Шурочкиными духами, которые Фима скупал в одном известном ему месте (адрес этот держался в секрете) и по выгодной (что немаловажно) цене. Духи, впрочем, были настоящие, из самого Парижа. Пахло духами, и таким, знаете, устойчивым чем-то, каким-то благодатным теплом, какого никогда не наблюдалось в безалаберном, как цыганская кибитка, доме Фаины.

Римма поднимается по лестнице, совсем не такой, как в их доме, – парадная лестница чистая, широкая, перила элегантно огибают её, и Римма оказывается перед распахнутой дверью, ведущей в святая святых. Комнаты с высокими потолками, с лепниной, окнами, в которых видно, как поворачивает трамвай, как высятся тополя и каштаны, но главное не то. В эти окна можно смотреть и смотреть, воображая себя выше всего мира...

Бедные почти всегда обсуждают богатых, но обратное совершенно неверно. Людям, находящимся, так сказать, почти у основания пресловутой лестницы, символизирующей достаток, всегда интересно, чем пахнет зажиточный дом. Как он устроен. Что такое есть в его обладателях, чего нет в них самих.

– Вот я, – перекусывая нитку, Фаина пожимала плечами, – с утра до вечера, то вытачки, то кружавчики, то подшить, то ушить, то отрезать, – и что в итоге я имею? *Цурес* на мою голову, больше ничего... Римма, ты не видела Генрика? Где его черти носят? Римма, что ты стоишь как малахольная, ты, слава богу, почти выросла, а учиться ничему не хочешь. Ну хорошо, *иголке* это не твоё (что сказала бы бабушка Геня?), а что таки твоё? Задницей вертеть? Намажь хлеб маслом, золотник хлеба, один раз в день должно быть масло, и посмотри, где носит эту заразу, я ему все руки оборву, и стой, не беги, возьми отрез и отнеси мадам Зильбер.

Римма уже взрослая, совсем взрослая, буквально недавно у неё начались женские дела, и тут она испугалась, что вся кровь из неё вытечет и она просто умрёт, но Фаина только понимающе усмехнулась, прокипятила несколько тряпок, обернула желтоватой марлей, натолкала ваты, – добро пожаловать, – как-то невесело засмеялась она, но так ничего толком и не объяснила, но Римма уже кое-что понимала, и понимала, что от этого не умирают, во всяком случае, не сразу, но предопределённость эта, невозможность остановить то, что идёт по плану, встревожила её... Ей не

хотелось взростеть. Новые босоножки, каблук, пусть даже самый маленький, это да, с каблучком нога становится продуманным и окончательным произведением природы, – с каблучком ты богиня, царица, идёшь себе, цок-цок...

К каблучку юбочка правильная, здесь приталено, а здесь пышненько...

И да, недавно, совсем недавно Римма надела первый в жизни бюстгальтер.

Простой, конечно, полотняный, он нежно обхватил едва намеченные возвышенности, которых Римма отчего-то смущалась, – почти что негде ей было остаться наедине с высоким зеркалом, в котором бы отразилась вся она, вместе с узкими плечиками, юной шейей, вырастающей из них... Лишь иногда, как правило, ночью, со странным и стесненным чувством Римма касалась себя и пугливо замирала.

Тайная жизнь, заключённая в ней самой, вызревала, подобная ростку неведомого растения, и это растение прорастало сквозь неё, распирая грудную клетку, подвергая неудобствам и постыдным, неловким ощущениям. Это тайное растение, вырастающее из неё, собственно, и была она, Римма. Время, проникая в сосуды, капилляры, кончики вьющихся волос, неустанно трудилось над тем, чтобы она, Римма, прорастала из себя, пугая и радуя новизной прорастаемого.

Возможно, кто-то из старожилов еще помнит вывеску «Часовой дом. Глазерсон и сыновья». Вывеска эта красовалась на двухэтажном каменном здании между пожарной каланчой и аптекой Габбе.

За хлебным квасом посылали к жене Якова Квача, косою Симе. В ларьке Симы Квач продавался самый вкусный квас, и это было как дважды два, и давно не нуждалось в доказательствах. Рецепт этого кваса, говорят, передавался из поколения в поколение, и, если бы однажды Яша Квач не уехал в Америку... Ну да, в Америку, которая приняла всех – и коую, немного с приветом Симу, и косоглазых отпрысков мал мала меньше, – заполучив тем самым державшийся в строгом секрете рецепт знаменитого кваса «Квач», – а как было не уехать, если даже пристав Семёнов закрыл глаза на страшное бесчинство, которого многие, между прочим, так и не пережили. И пристав Семёнов, и околоточный Орест Поволок, которому собирали по пять рублей с каждой семьи, все они дружно закрыли глаза и заткнули уши.

В тот день, когда Симин ларек оказался опечатанным (как оказалось, навсегда) и пароход, отчаливающий от пристани, издал прощальный гудок, у вывески «Глазерсон и сыновья» отвалилось несколько букв. То, что казалось незыблемым, рушилось в буквальном смысле на глазах.

Ах, каким импозантным мужчиной был Самуил Глазерсон, таких больше нет и никогда не будет. Осанка, бровь, яркие смешливые глаза, посеребрённые инем виски... Чисто европейский шарм, трость с набалдашником, бобровый воротник...

Если что и осталось от прошлой жизни, то вот эта карточка в правом углу шифлодика. Серьёзный мужчина (совсем ещё не старый, с удивлением констатирует Оскар) внимательно и чуть надменно смотрит в камеру, – смотри сюда, Ося, сейчас вылетит птичка, – одна холёная ладонь с длинными пальцами лежит на голове Оскара, другая – на плече младшего, Натанчика. Двое мальчиков в одинаковых сюртучках и штанишках, с одинаковыми чёлочками, серьёзные, глазастые, доверчиво смотрят на того, кто совершает странные и волнующие манипуляции с камерой.

Глазерсон и сыновья. Первый брак Самуила Глазерсона оказался не вполне счастливым. Святая была женщина Шейла-Либе, только чересчур болезненная, всякое ничтожное событие

вызывало в ней обильные слёзы, волнение, доводящее до истерики и горячки, – святая была и добрая, но скончалась от тифа, унеся в могилу едва намеченную божественным резцом жизнь. Когда в дом Глазерсона вошла юная Суламифь, Самуил был уже немолод, но всё ещё полон жизни. Ему исполнилось тридцать семь. Маленькая, похожая на большееротого галчонка хрупкая Суламифь сделала его счастливым отцом. Серьёзные, с едва заметной грустинкой глаза достались Оскару, первенцу, упрямство и дерзость – Натаниэлю.

«Часовой дом» Самуила Глазерсона располагался на нижнем этаже дома, а этажом выше нежная Суламифь, придерживая восьмимесячный живот, нянчила Оскара.

Оскар родился слабеньким, семимесячным, под свист нагаек и истошный вой, не то человеческий, не то волчий, который, казалось, шёл из-под самой земли.

После полуночи послали за акушеркой, это была опытная акушерка, через руки которой прошла не одна сотня младенцев. В ту долгую, почти бесконечную ночь лёгкий белый пух летел из вспоротых подушек, в окнах мерцали язычки зажжённых свечей¹. Дора Хаскелевна, маленькая уютная старушка, одним голосом своим внушающая доверие беспокойным роженицам и их ещё более беспокойным мужьям, гладила Суламифь по влажным от пота колечкам тёмно-каштановых волос, – ещё немного, кеcele, еще чуть-чуть...

Первенец Самуила Израильевича пришёл в этот мир слабеньким, точно котёнок, сдавленный плач и крик, не плач даже, а заунывная жалоба вплелась в общий стон и вой, и юная Суламифь, откинувшись на высоких подушках, светилась блаженнейшей из всех своих улыбок.

Хрупкий, болезненный Оскар, словно уступая крикливому и задиристому Натанчику, рос медленно, будто и вовсе не стремился вырасти, и страшная модная болезнь, обойдя младшего, остановилась на старшем. И если в окошке второго этажа вы видели склонённую над книжкой прилежную голову, то можно было не сомневаться, это старший, а если поблизости раздавался звон от выбитого стекла или треснувшего зеркала, то здесь был замешан Натан.

Детство Оскара началось со слёз, и ими оно, в общем, закончилось. Мир, точно гигантский часовой механизм, был явно изношен и требовал новых и новых деталей. Помощник отца, слезливый старик Варшавер, сидя в прихожей, вздыхал и держался за сердце, листая свежую газету, пахло снегом, ворвань, косой солнечный луч лежал на пыльной шторе, в углу оттаивали детские галоши, их красная подкладка многообещающе дразнила, но галоши принадлежали Натанчику, Оскар же, с обвязанным кашемиром горлом, зимовал в отцовском кабинете, там было натоплено, тепло, там Лейбниц с Гердером взирали со строгих книжных корешков, – вода пальцем по буквам, он постигал азы чужой готической речи, и неперменная ложка декохта, алоэ или рыбьего жира вливалась в обмётанные лихорадкой послушно приоткрытые губы.

Пока Натанчик лопаткой ковырял мерзлую землю, Оскар, распаренный жаром инфлюэнцы, цедил гоголь-моголь. Он был, что называется, впечатлительный домашний ребёнок, заботливо оберегаемый от всего, – сквозняка, ветра, мороза, ангины. Оберегаемый от всего, он тут же, на ровном, как говорится, месте, подхватывал крупозное воспаление лёгких, корь, скарлатину, ветрянку, сквозь горячечный бред он видел склонённое над ним прекрасное лицо Суламифь, её миндалевидные глаза, её точёный, повернутый к занавешенному окну профиль.

Мир Оскара был сумеречным и непрявленным, он состоял из полутеней и пляшущих язычков пламени, домашняя, защищённая от постороннего вмешательства жизнь казалась (и

¹Речь идет о еврейских погромах (в Киеве) между 1905-м и 1919 годом.

была) гораздо важнее уличных соблазнов, но самым, пожалуй, главным, было спрятанное в недрах кукушкиного домика время. Тайна этого домика изумляла и распалала воображение, там был некий секрет, от разгадки которого зависело само устройство жизни. Невидимые законы, управляющие движением небесных светил, приливами, отливами вод, солнечными и лунными затмениями. Стоило, казалось, разгадать секрет спрятанного в домике механизма... Мера времени, заключенная в секундах (не дающих поблажки), минутах, часах, которые, бывало, тянулись нестерпимо долго. Шелковистая борода отца, его тёплая ладонь, глуховатый голос, обращённый к кому-то невидимому, – умный мальчик, хороший мальчик, люфтментшш...¹

Кукушка, стремительно выпорхнув из украшенного резьбой деревянного домика, изумлённо обозревала открывшийся ей мир и поспешно ныряла обратно. Дверцы захлопывались, и Оскар, проваливаясь в сон, видел сидящую за дверцами птичку, ее укромную, сокрытую от посторонних глаз жизнь.

В часовом доме Самуила Глазерсона поддерживался однажды установленный порядок, которого, казалось бы, события внешнего мира почти не касались. Всё так же вращались колёсики, стрекотали и цокали стрелки, раскачивались маятники и подвешенные гири. Удивительная вещь! Часы, собранные из разных деталей, показывали одно и то же время. А если запаздывали либо же, напротив, спешили опередить события, то тут же оказывались в мастерской, расположенной с обратной стороны дома. Здесь таилась некая тайна, разгадка которой сулила важное, пожалуй, najważнейшее в жизни, открытие. Вооружившись пинцетом, он застывал над разъятым корпусом. Вот оно, крохотное сердечко, а вот артерии, сосуды, колёсики, мембраны, вот скальпель, зажим. Обнаруженное в складках механизма время следовало отделить, извлечь, понять, из чего оно, собственно, состоит.

Не то ли с душой? Любая попытка отделить её от плоти терпит фиаско. И всё же она существует, – вздыхает Оскар, смахивая с карточки невидимую пыль.

Сладкое чувство разорения, уничтожения отжившего своё мира. С какой непостижимой жестокостью срываются замки, потрошатся подушки, как сладко выдираются пружины, разорятся гнезда. Как буднично ведомая запахом крови толпа возвращается к жизни, и выброшенные из часовых механизмов кукушки умирают на грязном снегу.

Погибнет (на пороге собственного дома) Самуил Глазерсон, – оставшись в памяти Оскара стройным, стремительно-изящным, молодым, с висками, тронутыми ранней сединой, – будто сошедший с того самого снимка, сойдёт он по лестнице навстречу напирющей, лишённой глаз и лиц толпе. И только это, пожалуй, спасёт его от страшного осознания случившегося. И вырванная из часового корпуса кукушка, заполошно откинув птичью свою бессмысленную голову, пропoeт прощальную оду жизни.

Время – величина математическая, его можно складывать и вычитать. Время – величина метафизическая, его невозможно коснуться. Время – это то, что мы безвозвратно теряем.

Натан не мог простить Оскару три лишних года.

Ты знал её раньше, чем я. На целых три года больше. И этих лет хватило на то, чтобы помнить. Например, как она поворачивала голову. Или гладила по волосам. Снимала нагар со свечи, переворачивала страницы книги. Граф Монте-Кристо. Оскар запомнил название. Это было

¹Люфтментшш (идиш) – мечтатель, «человек воздуха».

то, что он не мог разделить с братом. Воспоминание о Суламифь. Утопающее в тёмных волосах смуглое лицо, обращённые в себя задумчивые глаза. Аромат оливковой кожи, уютная шаль на плечах, тепло маленьких рук.

Суламифь читает Дюма. Вот она склоняется над ним, неспящим, сухими губами касается пылающего лба.

Оскар понимал: по-своему Натан прав. Слишком мало любви досталось младшему. На три года меньше. И каждый последующий год всё больше отдалял от спокойной, размеренной жизни часового дома «Глазерсон и сыновья». В шумной многодетной семье старшего брата Суламифь мальчиков любили как своих детей, тем более что собственные дети стремительно вырастали, пополняя ряды продвинутой еврейской молодежи.

В веселом безалаберном доме Якова и Добы было много книг, но это были совсем другие книги. Не Гердер с Лейбницем, не Писемский с Гоголем и Пушкиным и уж конечно не «Граф Монте-Кристо». Здесь было шумно, весело, бедно, и часто звучали имена Ахад-ха-Ама, Лиlienблума, Герцля, Жаботинского. Заложённые между книжными страницами открытки, которые, проделав долгий таинственный путь, вызывали жгучий интерес.

На одних открытках странно одетые люди стояли посреди пустыни, опираясь на лопаты и мотыги, на других – дети в летних костюмчиках, матросках и шляпах-канотье сидели в повозках.

Детские пальцы с заусенцами водили по карте, перебирали открытки, воображение сулило полную героических преодолений жизнь. Фантазия уводила далеко от занесённых снегом улиц, тёмных дворов, чавкающей грязи, уроков, синих фуражек с околышками.

Подобное экзотическому цветку, на языке расцветало отдающее жаром и синевой слово.

Мечты о Палестине достались Натану по наследству, точно разношенные ботинки или пальто. В семье Якова Немзера было четверо сыновей: Давид, Бенцион, Сёма и Абраша. Пятой (и младшей, как вы уже поняли), была Мирьям, – смуглая, большеротая как галчонок, непослушно курчава, смешливая и дерзкая, она казалась центром шумной юношеской компании. Каждый шабат в тесной кухоньке Немзеров было шумно, весело, накурено – в крошечную распахнутую форточку врвался острый морозный воздух. Флюиды влюблённости витали над круглым столом, потому что Мирьям, или как её ещё называли домашние: Манечка, Манюся, – сверкая глазами, то и дело ударяла маленьким кулачком по столу, она была неистовой, бескомпромиссной спорщицей, и в этом, пожалуй, не уступала Натану, – и Оскар, глядя на этих двоих, на горящие их глаза и растрёпанные непослушные волосы, с грустью признавал собственное (воображаемое, впрочем) поражение, он был книжный мальчик, тихий фантазёр, хромоножка, и в мечтах его робких не слышно было завывания и шороха песков, разве только царапающее тиканье ходиков.

Он был книжный влюбчивый мальчик, и только отсутствие опыта не позволяло ему увидеть и понять очевидное. Мирьям и Натан были как будто созданы друг для друга, но как часто под спудом внешнего кроется глубинная суть явлений. Конечно же, яркий, широкоплечий, всегда страстно увлечённый младший брат не мог оставить Мирьям равнодушной, но Оскар, именно Оскар, маленький, тщедушный, отчаянно припадающий на ногу, задумчивый, немногословный Оскар вызывал в ней желание безудержно смеяться, дразнить, спорить, выдвигать гипотезы, дуться, прощать...

Окружённая обожающими её юными мужчинами, всё чаще она останавливала свой взгляд на одном из них.

Ах, если бы Оскар знал! Если бы понимал он значение мимолётного женского взгляда, закушенной нижней губы, особой грации, с которой поправлялись пряди непослушных волос...

Слишком неискущённым, слишком юным был старший, чтобы вовремя перехватить инициативу. К тому же он очень любил младшего, – младший как будто был улучшенной версией его самого, он был ярким, подвижным, уверенным в себе, легко воспламеняющимся (новыми идеями), и явно влюблённым.

По вторникам и четвергам в столовой Немзеров собиралась приличная компания, все эти молодые люди были страстными спорщиками, завзятыми театралами и участниками модного набирающего силу движения «Ховевей Цион»¹. Ни о чём пока не подозревающая тётя Доба, прикладывая палец к губам, ставила самовар и накрывала на стол. Родным языком Добы был всё-таки идиш, и новое увлечение детей казалось ей ненужной блажью.

Помахивая доброй своей уютной ручкой и немного кренясь вправо, семенила она по коридору, обнося гостей маковыми коржиками и крепким немзеровским чаем, и в общем-то, в целом была довольна, – серьёзные молодые люди, умные, красивые, не слгазить бы, все как на ладони, под одной крышей, а значит, под лично её, Добиной, защитой. Их можно было пересчитать, как цыплят, – Додик, Сёмочка, Абраша, Бенцион, да святится имя Его, все дома, и Мирьям (вот за кем глаз да глаз), и Оскар (вот за кого сердце плачет), и младший, Натанчик, которого видно за версту, весь в красавицу Суламифь...

Бедная тётя Доба, если бы знала она, – не пройдёт и года, как не станет Додика, Сёмочка и Бенцион в составе молодежной театральной студии переедут в Харьков, а Мирьям и Натан окажутся в числе пассажиров едва ли не последнего парохода, отплывающего в Эрец-Исраэль.

Первые письма из Палестины будут идти долго, очень долго, через Яффо, Стамбул, Яссы, Кишинёв, – длинные конверты, из которых, шурша, выскользнут исписанные убористым закруглённым почерком Мирьям, либо неровным, острым – Натана листочки сероватой, немного грубой бумаги.

Письма эти как будто источали таинственность далёкой планеты под названием Эрец-Исраэль. Оскар, прикладывая листочки к губам, закрывал глаза и вслушивался в шорох песков, клёкот нездешних птиц, в гортанный звук речи, он видел гладкую синеву небес, жар, прожигающий белизну стен, он слышал явственный аромат трав и диковинных ярких цветов, цветущего розмарина, тимьяна, Melissa, – однажды так оно и случилось, и тоненькая, отороченная жёсткими острыми лепестками веточка оказалась в его руках, и, повинувшись странному чувству, он долго растирал эти самые лепестки в пальцах, и после, прикладывая пальцы к ноздрям, представлял себе покрытое загаром улыбающееся лицо Мирьям, коричневые крапинки на её носу и щеках, длинную шею, выступающую из выреза простого хлопчатобумажного платья, – в резком аромате розмариновой веточки как будто содержалась молекула счастья, и счастьем этим дышала каждая буква...

«А ещё мы с Мирьям...» А ещё мы с Мирьям... А ещё... Конечно, он догадывался, он знал за-долго до того, как выскользнувший из конверта лист бумаги обжёт его пальцы и плавно опустился на пол. Конечно, он знал, но знать и предполагать – совершенно разное. И разве мог он желать чего-то иного для Натана, для Мирьям? Разве не был Натан улущенной версией его, Оскара...

¹«Ховевей Цион» – движение, сформировавшееся среди еврейского населения Восточной Европы в начале 80-х годов XIX века, на фоне враждебного отношения властей к евреям и вспышек антисемитизма, пик которых – еврейские погромы в южной России в 1881 году. Движение «Ховевей Цион» включало многочисленные объединения, возникшие в России и в Румынии. Их общий знаменатель – стремление к национальному еврейскому возрождению на их исторической родине, в Палестине, путем земледелия и ремесел. Общая организация «Ховевей Цион» в России возникла в 1884 году (на конференции в Каговиче), и во главе её стоял Иегуда Лейб Пинскер, написавший книгу «Автоэмансипация». «Ховевей Цион» стремились к национальному возрождению народа Израиля на своей земле, но не занимались государственной деятельностью: они сосредотачивались на поощрении эмиграции «Халуцим» (первопроходцев) в Палестину и поддержке первых поселений.

У девочки этой, у испанской наследной принцессы, если хотите знать, шило в одном месте. Целый день вертится она перед зеркалом, подтягивает свою и без того бесстыжую юбку, – нет, ну где вы видели такое, как будто у неё одна задача – свести с ума всё мужское население поголовно, ну, если не поголовно, то уж наверняка пройтись туда и сюда мимо лавки часовщика, мимо маленького окошечка, за которым угадывался согбенный силуэт часового мастера.

Женщине, даже маленькой, необходима загадка. В десятый раз проходит она мимо будки, уже в некотором даже унынии, с поблекшими красками на лице, и спроси её, – зачем, разве услышите вы ясный ответ? Кто знает, зачем, но для этого «зачем» подвигаются колечки жёстких волос и вынимается из тайного кармашка небольшой цилиндрок морковного цвета помады – не красить, нет, – всего только обозначить пылающие края и без того пунцовых губ, – зачем, спросите вы, – кто знает, зачем, – помада моментально прибавляет Римме солидности, диссонировав со смуглой кожей шершавых исцарапанных коленок и чернильными пятнами на руках, – ах, если бы кто-нибудь разъяснил ей, что этот ужасный многоопытный оттенок уродует её юное личико.

Но некому объяснить, – ведь цилиндрок, перекатывающийся в кармашке блузы, – это тайна, о которой не знает никто и уж тем более мадам Зильбер, у которой цилиндриков этих – навалом, и вряд ли она хватится одного, закатившегося под зеркало в прихожей.

В десятый раз сворачивает Римма за угол, – как будто у неё есть дело, допустим, в аптеке Габбе, в которой милейший аптекарь отпускает пилюли и порошки, но нет у неё никакого дела и никакой цели, кроме одной – встретиться взглядом с большими грустными глазами этого уже весьма немолодого человека, которого она, Римма, дочь королевы Испании, знает вот с таких лет.

В десятый раз сворачивает Римма за угол, не подозревая о том, что человек, сидящий за окошком будки, с мимолётной грустью провожает её удаляющийся силуэт, и вздыхая о чём-то своём, вновь склоняется над циферблатом.

Закатившийся под зеркало цилиндрок остался незамеченным и удачно перекочевал в Риммин кармашек, вызывая (некоторое, разумеется, время) вполне объяснимое чувство вины и определённые опасения – допустим, обнаружить его каким-то образом, попавшись на глаза матери (или ещё кому-либо из знакомых) с этими бесстыдно подведёнными губами, и потому, по мере приближения к дому, помаду полагалось тщательно стереть, но жирный этот глянцево-розовый цвет цепко въедался в нежную кожу губ, оставляя неряшливую кайму за пределами их. Со временем чувство вины становилось всё более условным, – обосновавшись в Риммином тайном кармашке и проведя в нём день-другой, предмет словно освоился, оброс новыми обстоятельствами, и, если говорить о принадлежности его, то он стал гораздо более Римминым, нежели чьим-то ещё.

Образованного человека видно за версту, – склонив голову набок, Фаина откладывает в сторону метр и, прищурив один глаз, оценивающе смотрит на заказчицу. Заказчица всплескивает руками, прикрывает ладошкой рот, – но почему такой достойный человек, и один? Нет ли у него некоего тайного изъяна?

У Фаины, между нами говоря, есть призвание. Которое ничего общего не имеет с искусством кройки и шитья. Единственное, разве что. Абсолютно точный глазомер! Он необходим в таком тонком деле. Тайная страсть Фаины – делать людей счастливыми. Почти безвозмездно. Хотя надо быть полной идиоткой, чтобы отказываться от небольших подарков...

Есть, отвечает, подумав, Фаина. Не то чтобы изъян, так, маленький недостаток... Который, – опять же, между нами, абсолютно не помешает в главном...

В главном? – невинно округляет глаза собеседница, – что вы хотите сказать, – ах, посмеиваясь, Фаина машет рукой, – ну, вы прекрасно понимаете, я бы сама... но, боже мой, разве я посмею? Это такая деликатность, такая утонченность, такая... знаете... Я дам вам адрес, это здесь, недалеко, за углом, Римма вас проведёт, – я вас умоляю, ничего не надо, покажите ему ваши часики, похоже, они нуждаются в ремонте. Такая интересная женщина, как вы...

Римма, сжимая в кармашке цилиндрик, шагает впереди этой курицы. Курица эта – с завивкой, перебирающая ногами-бутылочками, хочет быть счастливой. Глаза её светятся, щёки пылают, – ах, каким смехотворным кажется Римме это немолодое воодушевление... Кусая губы, Римма стучит в дверь.

– Да-да, проходите, – голос у Оскара глуховатый, негромкий, но именно этот голос имеет особенное воздействие на женский пол. – Оскар Самуэльевич, это к вам, мама прислала, – Римма, сжимая в кармашке цилиндрик, бочком входит в дверь и скромно, более чем скромно, остаётся стоять у порога, хотя места в будочке явно маловато, да и воздуха тоже, – клиентка, втиснувшись всем своим нарядным шуршащим телом, шумно выдыхает, обмахивается воображаемым веером и опускается на табурет.

Краем глаза Римма отмечает движение, которым Оскар Глазерсон обхватывает холёное запястье посетительницы, движение это вкрадчивое, деликатное, и сам часовщик напоминает врача, который прикладывает чуткое ухо к груди пациента.

– Деточка, – откашливаясь, произносит он, поворачивая голову в её, Риммину, сторону, – деточка, передавайте маме привет и приходите за вашими часиками в конце недели.

Ах, что это были за часики, крохотные милые часики с подвижными усиками стрелок, в самый раз для юной тринадцатилетней женщины, для маленькой женщины, сжимающей в кулачке заветный цилиндрик с выдвигающимся оранжевым конусом, для женщины с размытой каймой вокруг ярких губ, – когда-нибудь Римма научится раскрашивать губы не хуже Шурочки Зильбер или даже самой Дины Дурбин, и ноги её украсят чулки с таким шикарно убийственным швом, настоящие шёлковые чулки, скользящие между растопыренными пальцами, возможно, в день своего рождения Римма получит небольшой изящно упакованный и перевязанный сиреновой лентой пакет.

С каким нетерпением Римма ждёт четверга, но время тянется невыносимо медленно, можно сказать, абсолютно бездарно, без единого яркого и запоминающегося события, и даже взятая в школьной библиотеке книга не спасает от захолустной томительной скуки. Разве существует какой-нибудь смысл у жизни, лишенной трепета и предвкушения...

Странное свойство времени – задерживаться на поверхности вещей, накапливаться в виде воспоминаний и утекать сквозь пальцы. Письма от Натана и Мирьям были редкими и всегда неожиданными, и всякий раз, распечатывая конверт, Оскар испытывал особенное волнение. Последнее письмо получено было через третьи руки, и пришло оно в небольшой бандероли

от надёжного человека, который годами поставлял Оскару фурнитуру и запчасти для часовых механизмов.

Письмо, проделав долгий путь, попало в руки Оскара к концу лета.

«Дорогой Оскар, надеюсь, письмо мое застанет тебя в полном здравии. Здесь ходят дурные слухи... В который раз убеждаюсь в том, что мы приняли правильное решение, и, несмотря на многие трудности жизни в ишуве, о которых я тебе писал раньше, я не завидую всем, кто остался в Европе. Как бы там ни было, но мы живём на своей земле. Большая беда и большая война уже рядом, так говорят все наши цадики, а им можно верить. Мы с Мирьям волнуемся за тебя. Мирьям шлёт тебе привет и прикладывает ручку Эфраима, и ручку Эйтана, и маленькой Суламифи (фотографии нечёткие, но видно, что Шуламит похожа на нашу маму, а Эйтанчик – на тебя). Мы много работаем, и, если бы мог видеть, какая оливковая роща выросла за нашим домом... Масличные деревья дают прекрасный урожай, и я многое бы отдал, чтобы ты попробовал однажды наши финики, оливки и вкуснейший козий сыр, а также собственноручно испечённый Мирьям чёрный хлеб с тмином, точно такой, как был в нашем доме, и даже малосольные огурцы и селёдку, мы вымачиваем и солим их в бочках. С божьей помощью выращиваем собственную картошку, кабачки, тыкву, баклажаны, и Мирьям готовит пасту из баклажанов, заправленную толчёными зубчиками чеснока. Какая картошка растет на нашем участке, – можешь ли ты представить картошку, выращенную в пустыне? Благословен всякий плод, выращенный в Эрец-Исраэль...»

Прикладывая карточки к близоруким глазам, Оскар всматривался в размытые детские черты. Женщина, стоящая рядом с оливковым деревцем – как будто та же Мирьям, но бёдра её раздались, а руки, обнажённые предплечья кажутся сильными и тёмными. Зной иссушил и истончил нежные черты, и эти глубокие морщинки вокруг глаз... Белозубая улыбка на смуглом лице, и колечки непослушных волос из-под повязанной наподобие восточного головного убора косынки.

Конверт источал, как и прежде, едва уловимый аромат розмарина, хотя, вполне возможно, никакого аромата не было, ведь письма шли долго, очень долго, через надёжных людей, и, пока они шли, пересекая границы, уже вращались жернова, перемалывая страшный песок, уже тянулись гружёные подводы, они шли с запада на восток, но разве об этом думает человек, удел которого смирение, разве этим живёт человек, каждый божий день отпирающий лавку, раскладывающий свой тикающий товар, свой хрупкий и ценный инвентарь, разве об этом думает человек, над головой которого на разные лады стрекочет время...

Она поднимается по лестнице, совсем не такой, как в их доме, – парадная лестница чистая, широкая, перила элегантно огибают её, и Римма оказывается перед тёмной резной дверью, ведущей в прихожую, где высится громоздкая мебель из красного дерева. Повинуясь безотчётному чувству, Римма ступает неслышно и вдруг останавливается, ни туда ни сюда, потому что сделать движение – значит выдать себя с головой.

Зильберы дома, что довольно-таки странно, – как правило, в это время Фима Зильбер ещё на складе или в галантерейном магазине. Римма так надеялась на небольшое рандеву с Шурочкой Зильбер, потому что мадам Зильбер, как бы это сказать, иногда подбрасывала (из старых запасов) то какую-нибудь комбинацию, то чулочки на резинке, не вполне новые, но пригодные для носки. Сюрпризы эти всегда были внезапными, потому что какое такое бельё могла носить девочка тринадцати лет.

Итак, Фима дома, и тайные Риммины надежды, связанные с предстоящим днём рождения, тают с каждой секундой, ещё шаг – и она окажется разоблачённой, но, похоже, супруги чем-то увлечены, – нет, совсем не тем, о чём вы могли подумать, – похоже, кто-то из них уезжает, – всюду разбросаны вещи, и тяжёлый кованный сундук высится посреди комнаты, но что это, по прекрасным Шурочкиным щекам текут слёзы, – завидев застывшую на пороге Римму, мадам Зильбер с несвойственной ей горячностью подбегает к девочке и, всхлипывая, обнимает за плечи.

Деточка, у Фимы в Орджоникидзе заболела сестра, как хорошо, что ты здесь, передай маме, – а это возьми себе – всхлипывая, Шурочка выдвигает верхний ящик комода, – о, боги, разве смела она об этом мечтать, – счастье – белое, пенное, кружевное, невесомое льётся сквозь Шурочкины пальцы, и даже если оно чуть велико, это самое счастье, его можно ушить, вот здесь, и ещё вот здесь, – почти не дыша, медленно спускается Римма по лестнице, ей нет никакого дела до взрослых тягот и забот, и уж тем более до какой-то несчастной старухи из далёкого Орджоникидзе.

Медленно спускается Римма по лестнице, счастливая самим фактом присутствия в этом загадочном мире. Она идёт по скверу, огибает палисадник, и смуглые ножки её, смешно пританцовывая, выдают некоторое нетерпение...

Сегодня четверг, должно быть, часики давно готовы, они ждут её, и тогда всё устроится наилучшим образом, птичья лапка нежно обхватит её запястье, и тонкие пальцы Оскара со свойственной им деликатностью просунут ремешок в петельку, и секундная стрелка издаст едва слышное сверчание, – цвирк, цвирк, цвирк. Новые часики с золотистым овальным циферблатом будут идти, соразмеряя ход времен с темпом ее почти взрослой жизни, и тончайшая, тоньше золотого волоса секундная стрелка будет вторить биению Римминого сердца. Цвирк-цвирк, цвирк-цвирк...

Совсем не такой представляла Римма любовь, да и разве это любовь? Любовь это «Первый бал» или «Тот самый возраст»¹, два билета в последнем ряду, но отчего так торопится она, отчего так горят её щеки и глаза, и отчего останавливается она, сражённая небывалым. Тяжёлым амбарным замком, висящим на двери, и занавешенным наглухо окошком.

Тщедушный человек с тростью и небольшим саквояжиком, идущий вдоль кирпичной стены. Что-то из сказок Гофмана, не правда ли, господин зондерфюрер? Или вот эта комичная скрюченная старуха в горжетке, ползёт, точно распятое насекомое... Или вот эта низкорослая, всё ещё красивая какой-то избыточной красотой, точь-в-точь сошедшая с полотен Гойи... Похоже, она тащит что-то тяжёлое, возможно, это швейная машинка «Зингер». Или нелепая девочка-подросток, идущая впереди вместе с маленьким мальчиком, по всей видимости, братом, о, готт, в чересчур лёгком платьице, курчавая, большеротая как галчонок, кого высматривает она в многоликой толпе, и как смешно скидывает левую руку, видимо, чтобы определить точное время...

Зачем ей точное время в этом страшном, между нами говоря, мире, в этом абсолютном хаосе.

Человеку нужно что-то определённое в этом зыбком и донельзя изменчивом мире, – хотя бы исправно идущие часы. Кстати, как ваши швейцарские часы, господин зондерфюрер, точное ли они показывают время? Мои остановились на днях, и хорошо бы узнать, остались ли в этом городе приличные часовщики?

Когда речь заходит о времени, дружище, я становлюсь слишком сентиментальным, порой мне хочется вернуть его вспять. Как говорил старина Шопенгауэр, мы думаем, что тоскуем по какому-

¹«Первый бал», «Тот самый возраст» – фильмы, в которых главную роль исполняла Дина Дурбин.

нибудь отдалённому месту, тогда как на самом деле мы тоскуем о времени, которое там провели... Оказаться бы подальше от этих мест, в моём родном Халльштадте, на рыночной площади со старинным зданием ратуши, увидеть пряничные крыши домов, вновь слышать, как бьётся сердце старушки Европы. Бим-бом, бим-бом... Оседлать новенький велосипед, подаренный к четырнадцатому дню рождения, нестись по узким, вымощенным булыжником улочкам, пьянея от сладкого воздуха цветущих лип.

Декабрь 2022

На расстоянии ладони

*И вдруг меня охватывает несказанная печаль,
которую несёт в себе время; оно течёт и течёт, и меняется,
а когда оглянешься, ничего от прежнего уже не осталось
Да, прощание всегда тяжело, но возвращение иной раз ещё тяжелее.*

Эрих Мария Ремарк

В одном купе со мной (старый австрийский состав с купейными сидячими местами, шесть мест в одном купе) – милая пара, ожидающая младенца, – тихие, вежливые, немножко обнимаются, вернее так: она обвивает его стройную загорелую шею своими руками, он смотрит на нее, улыбаясь, потом каждый углубляется – она в телефон, он – в книжку. Но я успеваю отметить – глаза у него ясные, отороченные пушистыми ресницами, и, вообще, оба они светло-каштановые, ореховые даже, ясноглазые, светящиеся, ждущие. И веет от них (и проплывающего за окном пейзажа) такой ласковой тишиной.

И вдруг, совершенно внезапно, меня будто подбрасывает, и мирно спящая на моих руках собака распахивает сонные глаза. А ведь они немцы. Да, немцы, и шорох их речи – немецкий, и можно попробовать натянуть мундир (мысленно) на его крепкие плечи, обтянутые простой хлопчатобумажной тенниской, и представить, как он пишет письмо своей милой Гретхен, Лизхен, Герти или Йоханне, пишет своей юной Гретхен, которая немного посыпавет и даже похрапывает, положив ладонь на семимесячный (никак не меньше) живот.

Он пишет из украинского села или местечка, в котором буквально вчера согнали толпу «этих жалких людишек, лопочущих что-то невнятное и варварское на своем варварском наречии», согнали в овраг или в сарай, ну, и, сама понимаешь, моя милая, любимая, нежно-каштановая Лизхен, ореховая моя и ясная... Случилось то, что случилось, и, видит Бог, я не хотел, но я оказался свидетелем и участником – да, невольным участником того, что произошло (не в первый, надо отметить, раз). И мне было довольно не по себе, любимая Ингрид, потому что я не убийца, я всего только солдат, я исполняю приказ человека, который тоже исполняет приказ, мы все исполняем приказ, у нас нет выхода, в конце концов, эти люди, их, конечно, жаль. Но это, дорогая моя Герти, в основном коммунисты, евреи или цыгане, у нас приказ, – я, например, закрываю глаза, чтобы не видеть, как они прижимают к себе детей, как молятся старики, как горят их молитвы... Вначале я закрывал глаза, вначале я старался не видеть, не слышать, не знать, но теперь я могу и так, я вижу все, и никогда не забуду ту девушку, которая, о, Готт, так похожа на тебя, просто чем-то напомнила, такая же ореховая и ясноглазая...

Не слушай меня, дорогая Гретхен, мы просто немножко продвигаемся вглубь, конечно, это непросто, но у нас нет выбора – за нами наша великая Германия, будущее наших детей, и, кроме всего прочего, я хотел описать тебе здешнюю природу, нравы и обычаи этих... селян, которых мы

немножко, как бы это сказать, пощипываем, потому что голодный солдат это плохой солдат, а яйца и сало здесь необычайно вкусны. Я все думаю, как ты, моя любимая, не голодаешь ли. Если получится, отправлю тебе небольшую оказию с продуктами, надеюсь, они дойдут свежими, тебе нужны витамины, тебе и нашему будущему сыну.

Я поднимаю глаза. Поезд едет бесшумно, покачиваясь едва-едва. Эти австрийские поезда такие удобные и тихие, и пейзаж, проплывающий за окном – эти горы и черепичные крыши, этот дымок и эта синь, и эти милые, загорелые, ясноглазые люди в масках FFP2, и незримое присутствие младенца (а стало быть, и Бога), который вот-вот придёт в этот мир, радоваться и скорбеть, любить и удивляться, знать и не знать, видеть и не видеть. Я смотрю на них, пытаюсь понять, представить и пробудить в себе (ради чистоты эксперимента) некое тяжёлое чувство, но тут же, слава богу, вспоминаю Ханса Фалладу и Генриха Белля, и даже Ремарка, я перелистываю страницы любимых книг, я возвожу из них стену, выстраиваю мощную крепость. «На Западном фронте без перемен, Триумфальная арка, ночь в Лиссабоне, где ты был, Адам, бильярд в половине десятого, каждый умирает в одиночку...» – бормочу я, мысленно переворачивая страницы. И сердце мое обволакивает тепло. Если и смотреть на этот мир, то, скорее, «глазами клоуна», если умирать, то в одиночку.

Мы подъезжаем к станции, бархатный голос из динамика желает счастливого пути. Молодой человек с ореховыми глазами снимает мой чемодан с верхней полки и улыбается (под маской FFP2). Его юная жена машет рукой. Я тоже улыбаюсь.

«Зай гезунд» я понимаю хорошо, потому что так говорила моя еврейская бабушка.

Когда я просила бабушку рассказать о войне, она важно откашливалась и, конечно же, не отказывала.

Но рассказы ее были не очень серьезными. О каких-то курьезных случаях, о мастере цеха Яше, который шел за ней после ночной смены, о себе, пугливо семенящей вдоль трамвайной линии, о жмыхе, который жевали в эвакуационном поезде, о том, как на полном ходу выплеснула содержимое детского горшка в окно (других вариантов, как я понимаю, в переполненном вагоне не было). В общем, глаза ее то смеялись, то вдруг становились не то чтобы горестными, а отсутствующими. И я терпеливо ждала, когда после очередной порции «вейзмир» она все-таки возвращалась в наш обжитой уютный мир на бульваре Перова.

И она, конечно же, возвращалась, и вознаграждала мое терпение какой-нибудь уморительной байкой, от которой я буквально валилась с трехногого табурета.

Бабушка умела держать паузу. Ох, какую паузу она держала! В этой паузе было все. И холод, и голод, и вши, и жмых этот спасительный, и балетки ворованные, и страх, за ребенка, за себя, за Иосифа. И радость, оттого что выжила, ребенка выкормила и поставила на ноги (без Иосифа, уже без него). И что жизнь продолжилась, продолжается, со всеми ее страшными и невосполнимыми потерями, она все же идет, происходит, и вот уже сидит напротив такой маленький любимый обласканный человек, и хочет про войну, он хочет знать про войну, надо же...

Вот тебе война, – подмигивала бабушка и кому-то невидимому совала дулю, в самое рыло, безбожное его рыло, и, откашлявшись важно, начинала: – один раз (молчи, не перебивай, я сказала), – один раз шла я после ночной смены, а я была молодая, красивая, да... И шел за мной мастер цеха, Яша его звали, ну, ты знаешь, такой, интересный мужчина. Кажется, я ему нравилась. И вот шла я, молодая, красивая, в таком платье со вставочками, а здесь на груди – маленькие матерчатые пуговики... Что ты смеешься? Смеется она! Что смешного? Ты же хотела про войну, так я и рассказываю...

Обрывает сердце как раз не эпическое, а тривиальное.

Допустим, корзинка с апельсинами, оставленная на балконе. Собачья лежанка в углу. Торопливая мысль: надо бы постирать. И просушить на солнце.

Вначале купаешь собаку; собака, потрясенная содеянным, топчется на кривых лапах, шумно отряхивается – от кончика хвоста до носа – и летит в лоджии греться. Варишь первый кофе, пристраиваешь чашку между тубиками, забываешь, идешь за следующей. Обрывает сердце тривиальное: «Созвонимся в среду, я буду дома».

Я буду дома. Обыденная жизнь, точно конструктор, раскладывается на детали. Нет ни одной неважной. Кофейник на столе, горстка фиников в блюде. Мысленно собираешь детали, переходя от одной к другой. Внезапное – успела ли я вымыть кисти? Совсем, кстати, новые, купленные за несколько дней до. Тогда я еще писала о людях, покупающих мебель за день до начала войны. Война, ее прогорклый и дымный лик, ее устрашающий оскал, проступал из всего, но вот, поди ж ты, – одни покупали мебель, всякую домашнюю утварь, такую необходимую в быту, другие – апельсины, третьи – кисти и холсты.

Солнечный день. Сирены одна за другой. На улице не знаешь, то ли бежать, то ли пригнуться. Зато открылась аптека. Куплен корень валерианы для собаки, может, немного подействует.

Много о чем могла бы написать. О лицах и глазах, о вежливости и поразительном спокойствии (внешнем), о достоинстве, о невероятной ценности любого ракурса, увиденного при свете дня. Жадно ловишь тень, падающую от дома, решетки или дерева, воздух, чувство жизни. Ее хочется пить, как минеральную воду, запрокинув голову.

Но вот вновь сирена, и ты опять бежишь, и воздуха опять не хватает, и что-то с ногами, они вдруг совершенно ватные, чужие, бесполезные.

Внезапно, помимо всего прочего, охватывает тоска, которую я гоню прочь. Наверное, смешно тосковать по картинам, когда речь идет о жизни и смерти. Но я, тем не менее, тоскую по ним.

Я не фотографирую, нельзя, да и не до того, когда воеет сирена и под ногами стелется мокрая брусчатка, плитка, потом вновь брусчатка. Мокрая взвесь увлажняет лицо. София, Михайловский, все на расстоянии вытянутой руки. Каждого встречного хочется обнять. Эти лица... Я никогда не видела таких лиц. Эта печать взрослости и серьезности на самых юных. Этот стремительный переход в иное качество. Они, ребята эти, никуда не бегут, хотя звук сирены толкает, гонит в спину, поднимая изнутри тошнотворную муть. Сегодня я слишком внимательно смотрю на все это, отчетливо осознавая (какое внезапное и запоздалое осознание), как я все это люблю. Улицы, дома, звук речи. Узнаваемость сквозь все. Узнаваемость жизни. Родность в каждом штрихе. Здесь, в осажденном городе, мадонны прижимают к себе только что рожденных младенцев. Вглядись внимательней. Ты где-то это видел. Нежность длани, обороняющей только что явленную, богом данную жизнь. Так вот оно, это предчувствие, оно же было, было, отчего я отбрасывала его, делая скидку на любой повод, кроме истинного.

Они что-то готовят. К чему-то неизбежному. Но ты никогда не готов.

Человеческие голоса в распахнутом настежь (впервые за зиму) окне звучат подчеркнuto буднично. Кто-то переговаривается во дворе, между домами, какие-то женщины у лавочек дома напротив, детские голоса на площадке, птичий гомон, отчетливо перекрывающий все, даже лай брехливой, похожей на грязно-белую тряпичную игрушку собачонки. Солнце развернулось во всю мощь, оно интенсивно прогревает сжавшуюся землю, внезапно все меняет смысл и очертания, деревья набухают предчувствием, они объята истомой, в них прорастает новая жизнь. И хочется отбросить то, что сдавливает виски, голову, позвоночник, забыть новости, от которых все валится из рук, – и еще вот это «главное, не поднимать панику, без паники, без паники». В голове суетятся дробные мыслишки: купить, то, се, пятое, десятое. Вдруг покупается еда, которая не может быть съеденной, хочется обложить себя запасами – возьмем, например, яйца. Да, ты не любишь яйца, допустим. Но есть вероятность, что ты их полюбишь. Как и теряющий свежесть хлеб, и многое другое.

Женщина несет пакет с апельсинами, они горят, точно маленькие солнца. Пожалуй, апельсины всегда к месту. Отлично утоляют жажду... особенно, если нет воды. Стоп, нужен запас воды. Спички, соль, что там еще? Не надо изысков, что-то простое и долгоиграющее, как примус. Нет, примус оставьте в прошлом. В конце концов, у нас есть отопление, электричество. Стоп. Да, все-таки неплохо иметь примус. И научиться его разжигать. И вообще, попробовать все же собрать что-то. Нет, просто так, ничего особенного. Будто едешь в небольшое милое путешествие. Чемодан маленький, синий, веселый, сколько ты пересекал границ. Нет, подсказывают знающие люди, лучше рюкзак, с ним легче бежать (не спрашивайте куда)... И запас еды в дорогу... Аптечка, бинты, лекарства.

Вываливаю на стол таблетки «от всего». Господи, человек – это такая прорва. Никогда не знаешь, что ему внезапно нужно. Таблетки от бессонницы, аллергии, от головы, для головы... Маленькие разноцветные капсулы весело перекатываются по поверхности стола.

Солнечный луч, врываясь в комнату, обрывает суетливые мысли. Оно щедро плещется в распахнутом окне, немножко хулиганит, треплет бледные шторы. Собака потягивается на лежанке. Хорошо быть собакой. Собаки не планируют, они просто бегут, если что. Без лампочек, батареек, таблеток от изжоги... Им не нужны три пары джинсов, четыре фуфайки, майки, носки, штиблеты.

Яйца я всё-таки покупаю, но не забываю прихватить апельсин. Он будет светиться в темноте, точно яркая оранжевая лампочка.

Вся жизнь – сплошной переход. Из одного состояния в другое. Из другого в третье. Только, кажется, закрепился, обрел некую почву... Картину написал. Дерево посадил, вырастил. Не навсегда. Ничего не навсегда. Пришли и срубили. Под корень.

Вереница автобусов, в темноте ползущая, между полями лесами реками. Дети плачут, разрываются, собаки к ногам жмутся. Старики. То сварливые, то капризные, здесь вдруг держат спину. И лица такие – будто последний акт. Другой пьесы не будет. Едут, прижимая сумочки с документами. С отеками ногами, с глазами библейскими. «Вечность множится, повторяя сюжет. Но никогда – лица».

Впереди пара. Пожилые, грузные, шуршат пакетами в поисках паспорта.

Она шипит – ну вечно ты теряешь, ничего доверить нельзя. Остолоп.

Он пот со лба утирает, шаря по карманам пиджака. В сотый раз выворачивают пакеты, сумки, авоськи. Что-то падает, закатывается под кресло. Ругаются, привычно пиная друг друга, в какой-то бессильной ярости. И вдруг он, нелепый, грузный, уже через часов пять, когда автобус сломанный застыл между Сквирой и Белой Церковью, женщины направо, мужчины налево, но нет здесь

налево, все ползут по склону, кто-то падает, старики, держась за руки, точно дети, карабкаются, люди справляют нужду на глазах друг у друга...

И вдруг он, нелепый, грузный, посмеиваясь, приносит ей в ладонях снежок, слепленный только что из свежавывавшего снега. Как будто они школьники, и это экскурсия, всего только экскурсия, а не скорбный путь.

Есть еще важные и неунывающие старики, они к сыну едут. Эти в Америку. А те в Израиль. Ромочка уже в Бухаресте, нас заберет. И такая гордость в глазах.

Ромочка. А еще, знаете, квартиру жалко. У нас такая квартира, на проспекте Победы. Небольшая, нет, ничего такого, но, знаете, нам и не надо, чтобы большая. Мы вдвоем. Я и Генрих. Кто знает, увидим ли еще наши окна, кто знает.

В дороге быстро обрастаешь друзьями. Хоть ненадолго. Прибываешься к своим. Люди голые. Как на ладони. От одних хочется сбегать в другой автобус. С другими – ехать и ехать.

Глаза закрываешь, а она все говорит. И про Ромочку, какой он хороший сын, и про Генриха. Генрих на Пастернака похож. Эти прекрасные огненные глаза. Гордые, смеющиеся, все понимающие.

Кажется странным этот переход. Слишком долгая эта... экскурсия. Будто сон. Автобус на пустынной дороге. Детский безысходный плач, собачий скулеж. Люди, ползущие по снежному склону. Пожилой мужчина, несущий на руках мать.

– Семочка, мне надо сделать операцию на лицо, – хнычет она, глядя в одну точку.

– Зачем, – устало спрашивает он.

– Я такая страшная стала, некрасивая, на меня никто не хочет смотреть.

– Мамочка, – улыбается он, – ты же понимаешь, если ты сделаешь операцию, ты станешь такая красавица, что тебя украдут, сама подумай, к чему нам такая неприятность?

У соседей слева телефон взрывается гимном Украины. Все вздрагивают. Голос, будто шорох наждачной бумаги: Софочка, мы в дороге. Нет-нет, не волнуйся, едем, и это лучше, чем ничего. Нет, тепло, не стреляют, только вот стоим уже часа четыре. Или пять. А так все хорошо.

Из правого угла другой голос, уверенный в собственной правоте, его всегда слышно. Громкий, режущий ухо. Административный голос, указующий. Такие все знают лучше тебя. Едем, из темноты проступают серые лица. Пока все хорошо. Единственное, что страшит, – паника. Давка, толпа. В панике могут не заметить уязвимости старика и ребенка, а также маленькой таксы по имени Лукреций Бенджамен.

Да, когда идёт война (а она идёт), совсем сложно с придыханиями и соловьиными трелями. Хотя, именно они, трели и придыхания, спасают и абсолютно неизбежны в мире, где существует только чёрное и белое. Напрочь исчезли оттенки, нюансы. Либо герой, либо урод. Не с нами – то, однозначно, против нас. Каждый держится за то, что у него есть. Кто-то за горшок с геранью, кто-то за анютины глазки...

Не знаю, что бы я делала, если бы в том самом автобусе не оказался под моей ладонью теплый бок собаки. Если бы объята тревогой, усталостью и страхом толпа внезапно не обрела человеческое, интимное, смешное и трогательное. Горячий кофе на заправке, лежащий вдоль обочины грязный снег. Внезапное чувство единения с миром, с человечеством, не с абстрактным и безликим количеством его, а с вполне конкретными проявлениями человеческого.

Вот мужская ладонь сжимает и поглаживает другую, женскую. Оба далеко не молоды, я бы даже сказала, совсем наоборот. Она прикрывает глаза. Он набрасывает на ее плечи шаль. Ничего более. Но отчего-то в душе моей воцаряется покой и непоколебимое чувство уверенности в том, что все будет хорошо.

Все хорошо, пока теплый бок собаки, светящиеся глаза женщины. Когда в опасности и несчастье люди не забывают о главном. Пока пропускают стариков, балуют детей. Пока измученные, суровые, обожжённые войной вытаскивают из-под завалов и запертых домов кошек, собак и канареек. Пока жива душа, пока она отдаёт и получает, существует надежда. Даже в страшных, апокалиптических декорациях кто-то поливает цветы, насыпает корм, заботится о ближнем.

Восьмого марта меня потрясли скромные букетики цветов в руках идущих по улицам Киева мужчин. Меня потрясли маленькие дети, лихо пересекающие на самокатах по нижнему этажу паркинга во время обстрелов. Потрясли их молодые родители, сохраняющие абсолютное спокойствие. Потрясли эти люди, все понимающие, но «не теряющие лица». Оказалось, что лицо имеет значение. Оно, черт побери, имеет значение, когда вокруг тебя дети. Их не стоит пугать.

Война не отменяет нежности. Война не вычеркивает любовь, скорее, напротив, в крошечной тьме спасает едва заметная полоска света.

Да, любовь во время войны и чумы, глаза женщин, мужчин и детей, и эта ладонь, сжимающая другую...

Автобус подпрыгивает на ухабах, за окнами тьма, а я, закрыв глаза, поглаживаю укрытую пледом собаку. В жизни много случайной (и закономерной) красоты, и страшно представить, что однажды ее можно лишиться.

Утром осторожно тянусь к телефону. Телефон, должна признаться, стал весьма опасной штукой. Как только проступает сигнал вайфая, сердце сжимается. Что еще? Где? Сколько? Новости дублируют друг друга, поступая из разных источников. Страшно открывать снимки, на которых изувеченные в результате бомбежек и обстрелов дома. Там, в этих черных дырах, чьи-то жизни. Не идеальные, нет. Там, в черных провалах, уже не разобрать, какой была мебель, новой или не очень, не разобрать надписи на корешках книг, не рассмотреть ничего – прямое попадание все видимое обращает в пепел... Каждое утро, открывая глаза, пытаюсь осознать новую реальность. Не мою, нет.

Частная жизнь одного отдельно взятого индивидуума перестала быть частной. Я наблюдала это не раз. Допустим, в медицинских учреждениях – обезличивание всего личного, обезчеловечивание человеческого. Не в военное время, нет. В мирное. Когда ничего героического, ничего возвышающего. Никто тебя не прикроет, никто не защитит.

Иное дело война. Жизнь растет в цене. Как сахар, крупа, соль. Одна жизнь в одни руки. Сколько унесешь. Каждая ее подробность становится незаменимой, бесценной, уникальной.

Вам сколько сахара? Ложечку? Две? Она пьет кофе из маленьких изящных чашечек. Каждый глоток – причащение.

Из прошлой жизни поступают сигналы. Какой вы любите кофе – аромат, крепость, плотность. Неужели все это имело значение? Все эти милые пустяки, крошечные капризы.

Война, столь бесчеловечная по сути, высвечивает все человеческое. Оно вдруг проступает, сияет на солнце, играет всеми оттенками. Милый светский человек, которого знаешь по недавней прошлой (светской) жизни, вдруг, изменившись лицом, попрекнет собакой. И милое, светское, гляцевое осыпается, точно прошлогодняя листва. Обнажив то, что есть. Ни больше, ни меньше.

Другой – знакомый только виртуально, без лишних слов усадит собаку в ванну, смое с нее страх и пыль долгого пути...

Спасение становится смыслом. Слабоходящие старики, их убывающие на глазах жизненные силы... Их нужно спасать. Дети, рожденные за несколько дней до войны, дышат воздухом войны, они пока другого не знают.

Протянутые сквозь и через (границы, таможи) руки. Торжество человеческого на краю глубокой пропасти. Перед лицом очевидного. Оно, это человеческое, оказывается единственным, способным противостоять злу. Жизнь, полная смешных подробностей. Спящая в углу собака, щебет птиц за окном. Сваренный в джезве кофе, крепкий, плотный, насыщенный. Телефон, лежащий на столе. Человеческое близко, на расстоянии ладони. Впрочем, как и то, другое, во что верится с трудом.

Обратная сторона ада это каждый божий день, обыденность и неповторимость его. Это обратная сторона. Изнанка. Нарядные улицы, идущие по ним люди, текущая под окнами река, колокольный звон, его множественное отражение, лежащая на балконе собака, – все это обратная сторона. По ту сторону – небытие, каждую секунду приходится помнить об этом.

Все на месте. Вот он, балкон с видом на счастье из многих снов, вот ты, вот воздух, но нет больше того мира, нет прежнего тебя, есть только это мгновение. Будто затишье перед грозой. Нарядная ткань жизни, сквозь которую проступает истинное положение вещей. Какая-то страшная правда, с которой всем нам жить.

Как будто тебя давно нет. Нигде. Да, есть потребности. Крыши над головой, пропитания, инерция существования и выражения. Но что-то сломалось. Что-то не подлежит восстановлению.

Проходишь, не задевая, почти не касаясь. Соборы, святые, лики. В этом месте ты по идее должен испытать нечто вроде религиозного (в общем-то, несвойственного мне) экстаза, подъёма. Что-нибудь. Хоть какое-нибудь волнение.

Но нет его, экстаза, потому что нет меня.

В последнее время часто пересматриваю хронику.

Допустим, послевоенный Париж.

Сменяют друг друга черно-белые кадры, за которыми угадывается полная подробностей жизнь. Высится, растопырив ноги, Эйфелева башня, сквозь ржавые кружева ее проступают силуэты, торопливо перебегающие дорогу люди, девушки в лаконичных и как будто простеньких плащах, а вот они же – за столиками многочисленных уличных кафе и ресторанов.

Я жадно всматриваюсь в скупающие, оживленные, повседневные и праздничные лица парижан. Вот женщина в манто, ее высокая платиновая прическа, ее стройная шея, ее нежный затылок, ряд пуговок на спине, она сидит, зная себе цену, она пережила оккупацию, и теперь сияет лаком и перламутром, и лениво поглядывает на многоликую толпу, а потом на собственные ноготки, такие любовно подпильенные. Ее скупающая гримаска, ее милое личико.

За соседним столиком, совсем вплотную, как это принято в Париже, элегантно мсье, а может, и не мсье, а американский турист по имени Джон или Питер, неважно. Он сидит, широко и уверенно разведя ноги в полосатых отутюженных брюках, в волосах его аккуратный пробор. Он тоже пережил войну, и на лице его не отражается ничего, кроме сиюминутного пребывания в кадре.

А вот милые девчонки, смеясь и подталкивая друг дружку, жадно высматривают что-то в витрине дорогого бутика. Что-то явно недоступное их возможностям. И одна из них, благоразумная, постарше, тянет за локоток другую, остолбеневшую от застекленной роскоши.

Они пережили войну. Они в ней выросли. Накручивали кудряшки на бигуди, слюнявили ресницы, подкрашивали губы первой в жизни помадой, добытой на черном рынке.

Вот гражданин листает газету, его интересуют финансовые новости, биржа труда, бракоразводные процессы, рынок недвижимости, – гарсон пробега мимо, изгибается, жонглируя подносом. Он совсем еще мальчик. Он вырос и перерос войну.

А вот милые старушки и пикейные жилеты выгуливают шпицев и болонок по причесанным дорожкам в самом сердце Европы.

Они пережили войну.

По этим самым улицам, выкрикивая ругательства, улюлюкая, водили несчастных обритух женщин, еще каких-то пять, десять, пятнадцать лет тому назад, и дикая толпа жаждала мести, глумления, расправы.

Куда подевалась толпа? Растворилась в доброжелательных пешеходах, завсегдатаях быстро, кафе и ресторанов.

Как быстро зарастают шрамы, как полноводен человеческий ручей, как легко растут чужие дети, как неизбежно одна заставка сменяется другой.

Я жадно пролистываю кадры, стремясь добраться до сути, до начала начал. Я хочу ощутить пульс, биение, течение новой жизни в том месте, где были зияющие воронки.

Я вижу, как сносят ломбард, и на его месте сооружают летнюю веранду, устанавливают зонтики и столы.

Выжившие жадно живут, осваивая новые времена. Да, где-то назревает кризис, возможно, Карибский, но газета еще не раскрыта, и легкий ветерок листает страницы, а кофе в Париже, как это водится, подают с нежной булочкой бриош, и до следующей войны доживут избранные.

В прошлое хочется укутаться, точно в ветхое одеяло, пропавшее домом

Вдруг вспомнилась одна из любимых детских книжек. Где она сейчас? Раскладывающиеся декорации внутри искусно сотворенной обложки, скрупулезно вырезанные из картона персонажи, которые при раскрытии книги оживали самым невероятным образом, и мне, шестилетней, оставалось всего только произнести магические слова: – «столик, накройся!»

Ах, чего только на этом столике не было, какой только снеди. Но главное было то, что столик стоял в домике, а домик – в книжке, а книжка принадлежала мне, – вместе со столиком и домиком, с садом и двором...

Чудный папин подарок я полюбила и зачитала до дыр, и сколько бы раз ни перечитывалась книга, она не вызывала скуки или пресыщения, потому что оживающие на глазах герои могли повести себя любым образом, – ведь они были абсолютно живыми! Да, у сказки был сюжет, и вполне закономерная развязка, но что мне стоило придумать другую...

Сейчас, вспоминая (нет, воссоздавая в деталях) тот самый день, и то самое предвкушение, я тоскую по столику, который в домике, по домику, полному невиданных чудес и невероятных сокровищ.

Я вижу, как отпираю ключом дверь, как распаивается она, приглашая к столу, за которым кого только нет.

Как вьется змейкой коридор, как кивают со стен картины, как оживают книжные полки.

Как сижу я в торце того самого столика, как угощаюсь всяческой снедью...

Как подхожу к окну, а там – февральская ночь, и такой, знаете, царапающий звук, монотонный, размноженный предутренним эхом. Чемоданные колесики. Справа, слева, везде.

Всегда есть опасение, что ты не войдешь в свой дом таким, каким ты его покинул. Всегда есть опасение, что ты не узнаешь его. Что он не узнает тебя. Ты не тот, и он не прежний. Необходимо время, время для вас двоих, скрупулезное медленное время, чтобы ты, наконец, вспомнил. В каком ящичке свечи, как поскрипывает дверь, куда подевались зимние ботинки. Что означают эти каракули. И чьи это, собственно, рисунки. Неужели твои? Довоенные. Все эти клоуны, маленькие танцовщицы, юные босоножки...

Прежняя жизнь невосстановима. Ты никогда не войдешь в ту самую дверь, из которой вышел. Ты вышел в спешке, заперев дверь на два замка, ты как будто отрезаешь.

Он встречает тебя холодно. Он недоверчив. Он помнит твой поспешный уход, но уверяет, что не терял надежды. Его стены молчат, на них печать отчуждения.

Да что же это, – в отчаянии шепчу я, – ведь я вернусь, ты знаешь, я всегда возвращалась.

Когда было к кому, – парирует он, отворачиваясь, – когда был повод.

Ты никогда не любила меня просто так. Я был необходимостью. Удобной, когда надо. Вспомни, как ты вбивала в меня гвозди... Я что, я терпел... Дом без картин не имеет смысла. Во всяком случае, для тебя.

Имеет, – шепчу я, прижимаясь лбом к оконному стеклу, – во всяком случае имел когда-то. Когда в нем было столько жизни, что для картин не оставалось места. Когда звучали голоса, когда детские обиды таились по углам. Когда снег ложился воздушными хлопьями, и в доме всегда горел свет. Светились окна, и на кухне, и в гостиной...

Да, – оживляется он, внезапно озарясь, – я помню, как нам было хорошо. Картин не было, зато пахло выпечкой, раскатывалось и вздымалось тесто, и маленькие черные вишни укладывались в аккуратные углубления, и яблоки посыпались корицей, а в штруделе было столько мака... я помню, ты всегда стояла, примерно так, как сейчас, у окна, всегда бредила и грезила... Несбыточным, иллюзорным. А главное, далеким от меня.

Я бредила, согласна, но молоток, куда он подевался? Хочу вбить еще один гвоздь, вот здесь, повыше и правее. Мне важно, чтобы картины были развешены. Неровно, ты говоришь?

У любого дня есть свойство заканчиваться, и у хорошего, и у плохого. Порой кажется, нужно всего лишь задержать дыхание.

Ступенька, другая. Лестничный пролет. Такой тихий день. Странно тихий, точно такой, как тогда, в детстве. Снежные хлопья ложатся на землю, укрывают ее всю. Окутывают, точно пуховым платком.

Это воскресенье, дружок, день, когда в большой комнате накрывают на стол. Видишь, там, вдали, свет? Он разгорается все ярче и ярче, в проеме задернутых штор вспыхивают бумажные гирлянды. Там мальчик с перевязанными ушками, в заштопанных колготках, играет с новой пожарной машиной. Веселые пожарники в касках и оранжевых жилетках, совсем как настоящие, карабкаются по лесенке, и снег им нипочем.

На противне румянятся эклеры, густеет, томится, «доходит» шоколад. Там пахнет ванилью, там маковое зернышко, намокшее, зреет, набухает, смешиваясь с сахарным песком. Там жизнь длится и длится, множась и отражаясь в долгих зимних зеркалах.

И вдруг ты понимаешь, насколько хрупко все. Твой огромный маленький мир, твои стены и двери, твоя крыша и стол, и это самое чувство. Дома.

Ты дома. И ничего больше.

Вначале все плывет как будто, раскалываясь, распадаясь на пазлы, фрагменты причудливой мозаики. Все почти чуждо, и интимное с огромным трудом проступает сквозь время.

Бытие. Казалось бы, так просто. А слово это, столь торжественное, столь архаичное, на архаичных же истинах и держится. Как и ты сам.

Вот чашка твоя, вот стол. Вот выкрашенная в тщательно подобранный цвет стена, вот стыдливо завернутые (на всякий случай) картины. Вот ложечка кофейная звенит о краешек джезвы, вот книга проступает из обманчивого воскресного спокойствия.

Тишина.

Ты дома, наконец, и, словно тайком вернувшийся из долгих странствий, ступаешь на порог. Дом, он такой. Держит тепло, пока есть кому. Для кого. Угол этот, пока в нем спит и о чем-то вспоминает собака. Окно, пока есть кому в него смотреть.

Дома можно медленно. Можно неважно как. Можно вообще ничего. Отключить новости и, зарывшись в подушку, поплакать. Хотелось бы, но слез пока нет. И сил на них нет. Есть только чувство зыбкости сиюминутного, хрупкости и таинства обычного, бытийного. Ложечка, ветер за окном, клен и каштан, и ключ, который, о боже, никак не попадает в замочную скважину.

И эти голоса вокруг. Харьков, Киев, Черновцы. Вначале настороженные, потом, на сотом километре, вдруг становятся близкими, как могут быть близки только те, кого сводит беда и дорога.

Тыходишь в автобус, набитый под завязку, и, прижимая к себе собаку, вдруг выдыхаешь. Да, в духоте, тряске и под звуки разудалой русской попсы (видимо, это неистребимо, вечно) ты все-таки едешь. Ты движешься. К закату над Пшемышлем, к неуютному пограничному перевалу, к хмурому киевскому утру, к пустынной площади, к себе самой, растерянно стоящей на перекрестке всех дорог и мнений, к ложечке этой кофейной, к стене, выкрашенной в теплый охряный цвет.

Когда-то он был так важен, этот самый цвет. А для чего, собственно? Да просто так... Для теплой ламповой жизни.

Утреннее солнце точно проблеск надежды. Когда солнце, ничего плохого случиться не может. Но вот опять небо заволокло тучами, и я напоминаю себе, что вообще-то осень, так положено, как же без туч и луж, в которых отражаются свинцовые облака.

Пока пишу, солнце вновь прорывает серую массу, брызжет светом, дарит, как это ни пафосно звучит, надежду. Солнце и утро это надежда.

К концу дня все сгущается, и тогда на помощь приходит детская площадка неподалеку. Шум и гам спасительны. Пока дети играют, мир замирает, облака расступаются, оружие становится бессмысленным.

Есть несовместимые вещи. Например, убийство и солнечный луч. Убийство и яблоки, живописно лежащие на блюде. Играющие на площадке дети.

Картина, которую необходимо закончить. Томик Диккенса с закладкой, золотое тиснение на переплете. Плед, под которым дремлет собака. Чей-то смех в крошечной темноте.

Красный берет, изодранный портфель, скособоченные мокасины. Хорошо бы купить изящные новые сапожки, но в обувном кондовая советская продукция, безбожно калечащая детскую ступню.

Так и проходит она до первых морозов в мокалинах этих, пока не придет смирение и пожизненная нелюбовь к жесткой топорной колодке и резкому запаху клея.

Как быстро наступают осенние сумерки. Так быстро уходит тепло.

Так важно, чтобы в окнах напротив был свет. И там, за окнами, стол, и маленькие черные сливы, лежащие на овальном блюде, и тяжелая кисть винограда сорта «изабелла». И что-то еще, незримое, но, безусловно присутствующее, даже в кромешной тьме и безмолвии, оно напоминает о себе чьей-то молитвой или дыханием. Опавшим листом, росчерком птичьего крыла, глазами собаки и согбенной спиной человека в нелепом чересчур длинном плаще.

Силуэты проступают на непросохшей штукатурке, выходят на импровизированную сцену с какой-нибудь единственной репликой.

Лица, которые так и останутся неузнанными. А вот и старик переплетчик, его пейсы и борода припорошены пылью, сквозь пыль мерцают черносливовые смеющиеся глаза. Моисей едет в тихую немецкую деревушку к сыну, на месяц-другой, не больше, – я вас умоляю, кому мы там нужны, – он машет рукой и исчезает за поворотом, унося все недосказанное в карманах нелепого слишком длинного плаща.

Встреча с переплетчиком придает дню некоторый смысл, таким запустением веет отовсюду. В этом дне, таком же постороннем, как и предыдущие, недостает одной маленькой сентенции. Тщедушный человек в старомодных туфлях удаляется, унеся с собой дух долгой жизни, протяжный вздох, а вместе с ним ворох случайностей, закономерностей, роковых ошибок и неотвратимых последствий, и ты, вынесенный за скобки случайного диалога, возвращаешься в обманчиво мирный осенний вечер.

Иногда, в такие вечера, как сегодня, кажется, – мы одни в целом свете. Теплый октябрьский вечер, влажная взвесь в воздухе, листья уже не шуршат, не отвечивают жаром, их хрупкие крылья намочили, устали, распластались, приготовились к неизбежному.

Собака вздыхает у моих ног. Похоже, мы одни в целом свете, – давай жаться друг к другу, кутаться в плед, вспоминать густые летние сумерки, полные неги, свободы и тепла.

Постой, погоди, ведь ещё не зима, – осень, будто ловкий фокусник, вынимает из рукава лоскуты, – они вспыхивают по обочинам, не так ярко, как, скажем, три дня тому назад, но и в этих оттенках свое очарование. Листья повисли на секундной стрелке, – стоит дожидаться сильного ветра, и последние краски истают. Как вот этот тихий тёплый день. Как звёзды, как люди, как все, что согревало и светило. Похоже, мы на краю. Те, кто защищал от темноты, холода, беспросветных зим, пустоты, гаснут, гаснут, гаснут.

Убивать в пять утра, а также в шесть, – в этом особый шик. Пока они спят, мы работаем. Отрабатываем задачу. Мы просто работаем, лучше нам не мешать, в пять утра самое время, – цель

расслаблена, она не может прятаться, бежать, особенно, если на руках ребёнок, или там старик, старик все равно никуда не дойдёт, ребёнка мы денацифицируем, пока он спит, денацифицируем его мать и отца, соседа, канарейку и собаку, нас учили отрабатывать, в пять утра самое то, никто не мешает, только утренние птицы зачем-то кричат, как правило, они кричат на рассвете, вообще точно никогда не знаешь, чьи это птицы, с чьих озёр прилетают, на каком языке кричат, но командир сказал, сегодня работаем, кажется, я слышал крик, или стон, или вой, возможно, я тупо спал, и не мог проснуться, но в пять утра, или шесть, или даже семь я слышал, как плачет ребёнок, и кого-то зовет, на каком языке, ведь мы их уже денацифицировали, задача выполнена успешно, так сказал командир, все чисто и аккуратно, только зачем-то птицы кричат, то ли «мама», то ли «спаси», но я давно не помню, что это значит, мне не положено это знать, я вообще не пойму, о чем вы, я просто работаю, это хорошие деньги, нет, не война, я вообще про это не знал, сёстренке печочку, колечки, племяшке кроссовки, размер подошёл бы, вот думаю, не тесны ли, но, думаю, пятилетнему в самый раз.

Третий день вертится обрывок фразы, – я проезжала Винницу.

В пылающем раскаленной медью сентябре, мимо налитых светом и ровным жаром садов, мимо яблонь, согбанных под тяжестью осенних плодов. В том году лето случилось долгим, безразмерным почти, и дорога была естественным продолжением его, – мимо небольших уютных городов и пригородов, вдоль клубящихся рощ, мимо бредущих коров, лениво помахивающих хвостами.

Я проезжала Винницу. Я проезжала Житомир, Хмельницкий, все эти малые и большие районные центры между, мелькающие указатели с обозначениями, редкие автобусные остановки, старушки с выставленными на продажу корзинами, крынками, накрытыми марлей, с домашними закрутками зеленых помидоров, слив, маленьких знойных перцев.

Впереди был долгий путь, – через Каменец с его непроходимыми лесами, через ореховую Буковину, нарядную разноцветную Румынию...

Но небольшой привал вблизи Винницы запомнился ровным покоем, провинциальным уютом, одномерным шмелиным гулом и райскими яблочками, скатывающимися под ноги.

Винницкое, винное, хмельное – оно бродит во мне, теряясь в лабиринтах памяти, столь же долгой, как то долгое, жаркое лето.

И только фраза, вернее, обрывок ее, который пытаюсь ухватить, точно лоскут ускользающей жизни, которая там, за поворотом, обрывается, упираясь в тупик, но неизбежно остается в ком-то, – словом, одним, двумя или пятью, собранными воедино

И крохотные райские яблочки, их пряный, винный аромат, их дикий, терпкий вкус, их незначительность и невзрачность, их моментальная готовность скатиться под ноги, и этот шорох и гудение в нагретой высокой траве, и слово, в котором настоящий на поляни мед, и легкость молодого вина, пьянит и горчит, смеется и плачет, – винница, винница, винница

Светлое утро в Киеве. Такие только осенью бывают и в детстве. Все идет своим чередом, как будто сообщают поющие птицы, и утренние собаки, трусцой бегущие по утренним дорожкам. Все идет чередом, – гладкие, маслянистые каштаны уютно ложатся в ладонь, перекатываются под ногами.

В доме много новых лиц и новых детей.

Тихое светлое утро, переходящее в полдень, неправдой кажется ночной и предутренний морок, с остро воющими сиренами, вот к этому пока не получается приспособиться, видимо,

наладили звук, и он прорывается сквозь закрытые окна, и тут же ночные кошмары врываются в мир спального района, в котором только что было многолюдно, а теперь – пустынно, только чье-то окошко светится вдалеке. Прислушиваюсь к сопению собаки, подхожу, глажу, чувствую ответный вздох. Вот и отбой.

Целая жизнь прошла с начала войны, и рожденные накануне ее дети, возможно, скоро произнесут первые слова. Наверное, это будут мирные слова, как в любые мирные времена. Папа, мама, дай...

Особенно несправедливо посреди ночи, или под утро. Во сне успеваешь забыть... Немного забыть. Днем отвлекают дневные заботы. Гуляющие в сквере собачники, мамы с колясками, детские голоса. Старушка, медленно идущая вдоль ограды. Она и оповещений не получает, у нее нет мобильного телефона. Возможно, это счастье. Не слышать, не знать.

А ты, как назло, слышишь каждый шорох, каждый скрип. Ловишь во вселенском гуле низкие частоты. Или высокие. Или неземные какие-нибудь, марсианские. Так и есть. Нашествие марсиан.

То ли собака сопит, то ли... Нет, все-таки, собака. Потрогать нос, бок, юркие позвонки, нежные уши. Живая сонная жизнь. Счастье.

Перетащить подушки поближе и дышать в унисон.

Бабая помнишь? Черную руку? Все это существует...

У Бабая есть имя, фамилия, метрика, семейное положение, выслуга лет.

А этот Бабайчонок играл в покемона, в приставку. А теперь он вырос, и тут такие перспективы. Есть где развернуться.

«Придет серенький волчок...»

Какой смешной. Не бойся. Спи, маленький, мама тебя защитит.

Вот и отбой.

За сутки успеваешь прожить несколько жизней.

Вот я в коридоре, между стенами. Думаю о том, что хорошо бы вместо пижамы надеть спортивный костюм. Крадучись вбегаю в комнату, меняю пижаму на костюм, и это нехитрое действие немного отвлекает.

Вот я. Тянусь в темноте к телефону, чтобы понять, где, откуда, куда. Пишу своим. Все это время, ясное дело, дыхания нет.

Вот я, накрывшись с головой, решаю, что сейчас усну. Но я не усну, потому что мне чудится гул. Нет, это в трубах. И мальчик рядом. Сопит, чавкает под своей попонкой. Улыбаюсь, глажу между ушками. Он блаженно вздыхает.

Вот и я выдыхаю. Волшебное слово – отбой.

Нарочито спокойно иду варить кофе. Простые действия, но сколько в них смысла.

За окном девушка с рюкзачком, парень на велосипеде. Листья, подсвеченные солнцем. Волшебство.

Вот я. Сажу в лоджии у распахнутого окна. Сажу как истукан. Нет, как ящерица на теплом камне. Наверное, это счастье. Когда ничего не происходит. Просто тишина.

Так нельзя, говорю я себе. Отключаю телефон, тянусь к мольберту. Да, теперь обхожусь без музыки, музыку не могу.

Вот я. Покупаю яблоки. Яблоки светятся и пахнут. Совсем как в той, мирной жизни. До всего.

Вот я. Укрываю собаку. Жду отбоя. Где-то есть маленькие таблетки. Чтобы не слышать, не знать. Ни гула, ни сирен, ничего.

Но как быть с мальчиком. Кто почешет его между ушками, если я усну.

Я ее видела. Ту самую Воронку.

На теле земли появились памятники, но не выпуклые, а, как бы это сказать, вогнутые. Выпуклые памятники, возвышающиеся над, уходят в прошлое. Сегодня время вогнутых.

По краям ее толпились люди. Мнительные старушки, опасливо заглядывающие внутрь, популярные блогеры, прохожие, приезжие и местные, просто субботние семьи с детьми, некоторые из них (детей) бодро ковыряли ее лопатками, весело носились вдоль и поперек. Не обошлось, конечно, без селфи. Сложно удержаться и не запечатлеть себя на фоне истории.

Я не знаю, что это. Вызов, сила жизни, которая над всем (и над воронками от ракет в центре города), либо же демонстрация отношения к происходящему.

Нас убивают, но мы живы. Вот дети, которые могли бы... если бы...

Об этом страшно подумать.

Там могли быть дети. Случайные утренние прохожие, юные мамы с колясками, те же мнительные старушки и девушки, те самые, которые всегда на фоне, и всегда с тем самым зовущим выражением лица...

Не знаю, сравниют ли с землей эту новую достопримечательность, на фоне которой снимается событие. Пока что рядом пьют имбирный чай, едят фирменные блинчики с яблоком...

Обычная субботняя городская жизнь. Праздная, несуетная, шумная.

На фоне воронки. На краю ее (во всех возможных смыслах). К которой я приблизилась, конечно же, и тут же отпрянула. Потому что, как бы это сказать, памятникам вогнутым я предпочитаю выпуклые, возносящиеся над телом земли. И пусть рядом играют дети, много детей, которым не придется объяснять наличие этой новой и страшной тенденции. Никогда.

Бойкая, плечистая, крепко сколоченная женщина, уверенно и размашисто сгребаящая листья в округлые холмы, отчего же я всегда робею перед ней, ощущая невидимую стену между нами, воздвигнутую кем-то (не мной, не мной) преграду? Отчего так холодно ее сквозь зубы брошенное приветствие, так здороваются, повернувшись спиной, только с откровенно чуждыми...

Иду на свет мерцающего фонарика, окликая невидимую рядом собаку. Столько человеческого в прозе ежедневных ритуалов. Сметаемые на обочину листья, сколько тихой поэзии в них, обыденность случайного приветствия, в котором нет, собственно, самого приветствия, ноябрьская горечь и темнота, сиротство погруженного во тьму городского пейзажа.

Ежедневный ритуал выгуливания младенцев. Хоть застрелись, а ребенку нужен воздух. Да, приправленный дальним гулом, подсвеченный (будто неон) словом «война» и резким светом чьего-то фонарика. Юная женщина, в куртке курточке с капюшоном, толкая коляску, движется вдоль дома, туда и обратно, и опять туда. Ловлю себя на том, что провожаю ее взглядом, одновременно держу и держусь. Она за коляску, я за нее и собаку.

Первым дает о себе знать холодильник.

Хотя нет, вначале вспыхивает свет. Он вспыхивает так ярко и всегда неожиданно, что глазам, привыкшим жить на ощупь, становится почти больно. Но если свет выключен, то первым становится гул холодильника. Вот как сию минуту. Прямо сейчас. Прямое включение.

Точно живое существо, он вздрагивает всем своим большим белым телом, и начинается жизнь. И хочется припасть к его чистым девственным граням, обнять, точно лучшего друга, – где же ты был, дружище, отчего молчал, не подавал признаков жизни?

Итак, в начале был гул холодильника, а вовсе не слово, как мы все наивно полагали. Потом – мерцание зеленых огоньков, предвосхищающих главное – связь. Вот помигивает оранжевый, и тут же зеленый. Стараясь не спугнуть чудо, я почти не дышу.

Новые реалии подталкивают к быстрому осознанному выбору. Звонок – самым близким. Беседа – самая важная. Сколькo счастья в звуке живого и родного человеческого голоса, пробивающегося сквозь все заграждения и сбои провайдера.

Присутствие. Пожалуй, оно становится наиважнейшим. Ты у них, они у тебя.

Есть.

Конечно, и утробный ровный гул белого исполина, и вспыхивающий (до рези в глазах) свет. И ошеломленное впитывание каждой клеткой его частиц, фотонов и протонов.

Потом кормление морских свинок – зарядок, телефонов, аккумуляторов. Свинки припадают к источнику жизни. Я вижу, как наливаются они молодостью и здоровьем. Я слышу, как благодарно течет по проводам ток...

К слову сказать, я так и не понимаю, из чего его добывают, из чего оно состоит, самое время взяться за уроки физики, которыми пренебрегала в восьмом классе.

Что радует, так это последовательность. Хотя в чем-то. Никто не отменял смены времён года и буйства оттенков, – от жженого сахара до молочной карамели, – от кофейного до густо-карминного. Воздуха, настоящего на долгом щедром лете, на обильных осенних дождях. Смешной пес семени короткими лапами, воображая себя поводырем и, чего скрывать, первооткрывателем. Чего, спросите вы? Чего открывателем? Каждого дня со всеми его подробностями, с началом его и угасанием, со всей монотонностью повседневного, сиюминутного, незначительного.

Шелест человеческого присутствия, обрывки слов, междометий, – все это повисает в воздухе, точно ключья зыбкого тумана. Вдруг все становится важным. Свет в доме напротив. Скорая на углу. Следы пребывания других. Только что вышел. Вошёл. Был и вернулся. Так важно предвосхищать простое, не трансцендентальное, не метафизическое. Был, есть, будет. Скорая, выпустив облачко вонючего дыма, вздрогнула, застыла, будто пребывая в сомнении относительно всего, но, качнувшись, отъехала.

Зима еще не началась, но, мне кажется, что-то очень важное запомнится из этих погруженных в полумрак дней и вечеров.

Ряд темных домов, а за ними еще ряд, и еще. Что-то очень обнадеживающее в людях, идущих с фонариками разной мощности и конфигурации.

Появилось время «для себя». Необязательно проведенное с очевидной пользой. Нет. Просто личное, в обрамлении темных окон и горячего свечения от зажженной свечи.

Мысли о том, что зима неизбежна, и неизбежны тяжелые и холодные времена.

Но сегодня, в этот теплый ноябрьский вечер, я слышу счастливые голоса, чей-то смех за окном, и, как никогда, хочется верить в лучшее.

Этой осенью красота трогает сердце мягкими пугливыми лапами.

Наш провинциальный двор кажется принаряженным, готовым к каким-то праздничным событиям, – то там, то тут – клумбы, усаженные яркими летними цветами, балконы, отороченные виноградными листьями, – кажется, я тысячу лет не забредала в эти дворики, не смотрелась в пресные зеркала луж, не шуршала сброшенной за ночь листвой... Деревья постепенно лишаются крон, обнажаются ветви, протянутые к небесам, но все еще вспыхивают, дарят свет, цвет, транслируют отчаянную попытку удержать тепло, объять необъятное, задержаться в кадре.

А вот и любимое сливовое деревце, – ах, отчего же я не пишу хокку, не восславляю этот умопомрачительный изгиб.

Должно быть, я истосковалась по неправильности, кривизне, мой близорукий взгляд не только сглаживает шероховатости, но и нежится в них. Пользуясь моментом, я воспеваю эту затрапезную, несколько наивную красоту.

Милые сердцу подробности вырастают, точно в детской книжке, названия которой я никак не вспомню.

Но в книжке той было уютно, тепло, как в сегодняшнем осеннем дне, а если дул ветер, можно было укрыться под навесом, либо же сидеть у окна, листая рассеянно страницы.

Страницы были тонкие, желтоватые, – еще не газетная бумага, но почти, и пальцы мои натыкались на подобный распятой многоцветной бабочке кленовый лист. Я проводила пальцем по истончившимся линиям на нем и торопливо переворачивала страницу. Как будто опасалась нарушить уязвимость и хрупкость чьего-то (не моего, не моего) воспоминания. Послание из прошлой осени, вспыхивающее густым карминным цветом, оно предвещало долгие зимние сумерки, но обещало (и отдавало) тепло и свет, свет и тепло.

Свет и тепло.

Дома вдоль трамвайной линии казались устойчивыми, надежными мне, родившейся в мирные времена.

Любуясь пейзажем, мысленно я помещаю его в раму старой квартиры, окнами внутрь двора.

Так вот отчего жизнь казалась полноводной рекой, не выходящей за пределы берегов. Правый и левый. Левый и правый. А между ними – сметающий листья ветер, развешанное во дворе белье, медленный праздник жизни.

После больших войн все становится благом и даром, но только переживший их способен это осознать.

*Киев – Мюнхен – Киев, 2022
мирная жизнь между двумя сиренами*